

АРКАДИЙ ГАЙДАР

ВОЕННАЯ ТАЙНА



А. Гайдар. «Военная Тайна»

Из-за какой-то беды поезд два часа простоял на полустанке и пришёл в Москву только в три с половиной.

Это огорчило Натку Шегалову, потому что севастопольский скорый уходил ровно в пять и у неё не оставалось времени, чтобы зайти к дяде.

Тогда по автомату, через коммутатор штаба корпуса, она попросила кабинет начальника — Шегалова.

— Дядя, — крикнула опечаленная Натка, — я в Москве!... Ну да: я, Натка. Дядя, поезд уходит в пять, и мне очень, очень жаль, что я так и не смогу тебя увидеть.

В ответ, очевидно, Натку выругали, потому что она быстро затараторила свои оправдания. Но потом сказали ей что-то такое, отчего она сразу обрадовалась и заулыбалась.

Выбравшись из телефонной будки, комсомолка Натка поправила синюю косынку и вскинула на плечи не очень-то тугий походный мешок.

Ждать ей пришлось недолго. Вскоре рывкнул гудок, у подъезда вокзала остановилась машина, и крепкий старик с орденом распахнул перед Наткой дверцу.

— И что за горячка? — выбранил он Натку. — Ну, поехала бы завтра. А то «дядя», «жалко»... «поезд в пять часов»...

— Дядя, — виновато и весело заговорила Натка, — хорошо тебе — «завтра». А я и так на трое суток опоздала. То в горьком сказали: «завтра», то вдруг мать попросила: «завтра». А тут ещё поезд на два часа... Ты уже много раз был в Крыму да на Кавказе. Ты и на бронепоезде ездил, и на аэроплане летал. Я однажды твой портрет видела. Ты стоишь, да Будённый, да ещё какие-то начальники. А я нигде, ни на чём, никуда и ни разу. Тебе сколько лет? Уже больше пятидесяти, а мне восемнадцать. А ты — «завтра» да «завтра»...

— Ой, Натка! — почти испуганно ответил Шегалов, сбитый её бестолковым, шумным натиском. — Ой, Натка, и до чего же ты на мою Маруську похожа!

— А ты постарел, дядя, — продолжала Натка. — Я тебя еще знаешь каким помню? В чёрной папаше. Сбоку у тебя длинная блестящая сабля. Шпоры: грох, грох. Ты откуда к нам приезжал? У тебя рука была прострелена. Вот однажды ты лёг спать, а я и ещё одна девочка — Верка — потихоньку вытащили твою саблю, спрятались за печку и рассматриваем. А мать увидела нас да хворостинкой. Мы — реветь. Ты проснулся и спрашиваешь у матери: «Отчего это, Даша, девчонки режут?» — «Да они, проклятые, твою саблю вытащили. Того гляди, сломают». А ты засмеялся: «Эх, Даша, плохая бы у меня была сабля, если бы её такие девчонки сломать могли. Не трогай их, пусть смотрят». Ты помнишь это, дядя?

— Нет, не помню, Натка, — улыбнулся Шегалов. — Давно это было. Ещё в девятнадцатом. Я тогда из-под Бессарабии приезжал.

Машина медленно продвигалась по Мясницкой. Был час, когда люди возвращались с работы. Неумолчно гремели грузовики и трамваи. Но всё это нравилось Натке — и людской поток, и пыльные жёлтые автобусы, и звенящие трамваи, которые то сходились, то разбегались своими путаными дорогами к каким-то далёким и неизвестным ей окраинам: к Дангауэровке, к Дорогомилровке, к Сокольникам, к Тюфелевой и Марьиной рощам и ещё и ещё куда-то.

И когда, свернув с тесной Мясницкой к Земляному валу, шофёр увеличил скорость так, что машина с лёгким, упругим жужжанием понеслась по асфальтовой мостовой, широкой и серой, как туго растянутое суконное одеяло, Натка сдёрнула синий платок, чтобы ветер сильнее бил в лицо и трепал, как хочет, чёрные волосы.

... В ожидании поезда они расположились на тенистой террасе вокзального буфета. Отсюда были видны железнодорожные пути, яркие семафоры и крутые асфальтовые платформы, по

которым спешили люди на дачные поезда.

Здесь Шегалов заказал два обеда, бутылку пива и мороженое.

— Дядя, — задумчиво сказала Натка, — три года тому назад я говорила тебе, что хочу быть лётчиком или капитаном морского парохода. А вот случилось так, что послали меня сначала в совпартшколу, — учишь, говорят, в совпартшколе, — а теперь послали на пионерработу: иди, говорят, и работай.

Натка отодвинула тарелку, взяла блюдечко с розовым, быстро тающим мороженым и посмотрела на Шегалова так, как будто она ожидала ответа на заданный вопрос.

Но Шегалов выпил стакан пива, вытер ладонью жёсткие усы и ждал, что скажет она дальше.

— И послали на пионерработу, — упрямо повторила Натка. — Лётчики летят своими путями. Пароходы плывут своими морями. Верка — это та самая, с которой мы вытащили твою саблю, — через два года будет инженером. А я сижу на пионерработе и не знаю — почему.

— Ты не любишь свою работу? — осторожно спросил Шегалов. — Не любишь или не справляешься?

— Не люблю, — созналась Натка. — Я и сама, дядя, знаю, что нужная и важная... Всё это я знаю сама. Но мне кажется, что я не на своём месте. Не понимаешь? Ну вот, например: когда грянула гражданская война, взяли бы тогда тебя и сказали: не трогайте, Шегалов, винтовку, оставьте саблю и поезжайте в такую-то школу и учите там ребят грамматике и арифметике. Ты бы что?

— Из меня грамматик плохой бы тогда вышел, — насторожившись, отшутился Шегалов. Он помолчал, вспомнил и, улыбнувшись, сказал: — А вот однажды сняли меня с отряда, отозвали с фронта. И целых три месяца в самую горячку считал я вагоны с овсом и сеном, отправлял мешки с мукой, грузил бочонки с капустой. И отряд мой давно уже разбили. И вперёд наши давно уже прорвались. И назад наших давно уже шарахнули. А я всё хожу, считаю, вешаю, отправляю, чтобы точнее, чтобы больше, чтобы лучше. Это как, по-твоему?

Шегалов глянул в лицо нахмурившейся Натки и добродушно переспросил:

— Ты не справляешься? Так давай, дочка, подучись, подтянись. Я и сам раньше кислую капусту только в солдатских щах ложкой хлебал. А потом пошла и капуста вагонами, и табак, и селёдка. Два эшелона полудохлой скотины и те сберёг, выкормил, выправил. Приехали с фронта из шестнадцатой армии приёмщики. Глядят — скотина ровная, гладкая. «Господи, — говорят, — да неужели же это нам такое привалило? А у нас полки на одной картошке сидят, усталые, отошальные». Помню, один беспокойный комиссар так и норовит, так и норовит со мной поцеловаться.

Тут Шегалов остановился и серьёзно посмотрел на Натку:

— Целоваться я, конечно, не стал: характер не позволяет. Ешьте, говорю, товарищи, на доброе здоровье. Да... Ну вот. О чём это я? Так ты не робей, Натка, тогда всё, как надо, будет. — И, глядя мимо рассерженной Натки, Шегалов неторопливо поздоровался с проходившим мимо командиром.

Натка недоверчиво глянула на Шегалова. Что он: не понял или нарочно?

— Как не справляюсь? — с негодованием спросила она. — Кто тебе сказал? Это ты сам выдумал. Вот кто!

И, покрасневшая, уязвлённая, она бросила ему целый десяток доказательств того, что она справляется. И справляется неплохо, справляется хорошо. И что на конкурсе на лучшую подготовку к летним лагерям они взяли по краю первое место. И что за это она получила вот эту самую путёвку на отдых в лучший пионерский лагерь, в Крым.

— Эх, Натка! — пристыдил её Шегалов. — Тебе бы радоваться, а ты... И посмотрю я на тебя... ну до чего же ты, Натка, на мою Маруську похожа!... Тоже была лётчик! — с грустной улыбкой закончил он и, звякнув шпорами, встал со стула, потому что ударил звонок и рупоры громко

закричали о том, что на севастопольский № 2 посадка.

Через туннель они вышли на платформу.

— Поедешь назад — телеграфируй, — говорил ей на прощанье Шегалов. — Будет время — приеду встречать, нет — так кого-нибудь пришлю. Погостишь два-три дня. Посмотришь Шурку. Ты её теперь не узнаешь. Ну, до свиданья!

Он так любил Натку, потому что крепко она напоминала ему старшую дочь, погибшую на фронте в те дни, когда он носился со своим отрядом по границам пылающей Бессарабии.

Утром Натка пошла в вагон-ресторан. Там было пусто. Сидел рыжий иностранец и читал газету; двое военных играли в шахматы.

Натка попросила себе варёных яиц и чаю. Ожидая, пока чай остынет, она вынула из-за цветка позабытый кем-то журнал. Журнал оказался прошлогодним.

«Ну да... всё старое: «Расстрел рабочей демонстрации в Австрии», «Забастовка марсельских докеров». — Она перевернула страничку и прищурилась. — И вот это... Это тоже уже прошлое».

Перед ней лежала фотография, обведённая чёрной траурной каёмкой: это была румынская, вернее — молдавская, еврейка-комсомолка Марица Маргулис. Присуждённая к пяти годам каторги, она бежала, но через год была вновь схвачена и убита в суровых башнях кишинёвской тюрьмы.

Смуглое лицо с мягкими, не очень правильными чертами. Густые, немного растрёпанные косы и глядящие в упор яркие, спокойные глаза.

Вот такой, вероятно, и стояла она; так, вероятно, и глядела она, когда привели её для первого допроса к блестящим жандармским офицерам и следователям беспощадной сигуранцы.

... Марица Маргулис.

Натка закрыла журнал и положила его на прежнее место.

Погода менялась. Дул ветер, и с горизонта надвигались стремительные, тяжёлые облака. Натка долго смотрела, как они сходятся, чернеют, потом движутся вместе и в то же время как бы скользят одно сквозь другое, упрямо сбираясь в грозовые тучи.

Близилась непогода, и официанты поспешно задвигали тяжёлые запылившиеся окна.

... Поезд круто затормозил перед небольшой станцией. В вагон вошли ещё двое: высокий, сероглазый, с крестообразным шрамом ниже левого виска, а с ним шестилетний белокурый мальчуган, но с глазами тёмными и весёлыми.

— Сюда, — сказал мальчуган, указывая на свободный столик.

Он проворно взобрался на стул и, стоя на коленях, подвинул к себе стеклянную вазу.

— Папа... — попросил он, указывая пальцем на большое красное яблоко.

— Хорошо, но потом, — ответил отец.

— Ладно, потом, — согласился мальчуган и, взяв яблоко, положил его рядом с тарелкой.

Человек достал папиросу.

— Алька, — попросил он, — я забыл спички. Пойди принеси.

— Где? — спросил мальчуган и быстро соскочил со стула.

— В купе, на столике, а если нет на столике, то в кармане в пальто.

— То в кармане в пальто, — повторил мальчуган и направился к открытой двери вагона.

Человек в сером френче открыл газету, а Натка, которая с любопытством слушала весь этот короткий разговор, посмотрела на него искоса и неодобрительно.

Но вот за окном, подавая сигнал к отправлению, засвистел кондуктор. Человек во френче отложил газету и быстро вышел. Вернулись они уже вдвоём.

— Ты зачем приходил? Я бы и сам принёс, — спросил мальчуган, опять забираясь коленями на сиденье стула.

— Я это знаю, — ответил отец. — Но я вспомнил, что позабыл другую газету.

Поезд ускорил ход. С грохотом пролетел он через мост, и Натка загляделась на реку, на луга, по которым хлестал грозовой ливень. И вдруг Натка заметила, что мальчуган, спрашивая о чём-то у отца, указывает рукой в её сторону. Отец, не оборачиваясь, кивнул головой. Мальчуган, придерживаясь за спинки стульев, направился к ней и приветливо улыбнулся.

— Это моя книжка, — сказал он, указывая на торчавший из-за цветка журнал.

— Почему твоя? — спросила Натка.

— Потому что это я забыл. Ну, утром забыл, — объяснил он, подозревая, что Натка не хочет отдать ему книжку.

— Что же, возьми, если твоя, — ответила Натка, заметив, как заблестели его глаза и быстро сдвинулись едва заметные брови. — Тебя как зовут?

— Алька, — отчётливо произнёс он и, схватив журнал, убежал к своему месту.

Ещё раз Натка увидела их уже тогда, когда она сошла в Симферополе. Алёшка смотрел в распахнутое окно и что-то говорил отцу, указывая рукой на голубые вершины уже недалёких гор.

Поезд умчался дальше, на Севастополь, а Натка, вскинув сумку, зашагала в город, чтобы сегодня же с первой автомашиной уехать на берег этого совсем не знакомого ей моря.

В синих шароварах и майке, с полотенцем в руках, извилистыми тропками спускалась Натка Шегалова к пляжу.

Когда она вышла на платановую аллею, то встретила поднимающихся в гору ребят-новичков. Они шли с узелками, баульчиками и корзинками, весёлые, запylённые и усталые. Они держали — наспех подобранные круглые камешки и хрупкие раковины. Многие из них уже успели набить рты кислым придорожным виноградом.

— Здорово, ребята! Откуда? — спросила Натка, поравнявшись с этой шумной ватагой.

— Ленинградцы!... Мурманцы!... — охотно закричали ей в ответ.

— Машиной, — спросила Натка, — или с парохода?

— С парохода, с парохода! — точно обрадовавшись хорошему слову, дружно загалдели только что приплывшие ребята.

— Ну, идите, да идите не по аллее, а сверните влево, вверх по тропке, — тут ближе.

Когда Натка уже спустилась на горячие камни, к самому берегу, то увидела, что по дороге из Ялты во весь дух катит на велосипеде старший вожатый пионерского лагеря Алёшка Николаев.

— Натка, — соскакивая с велосипеда, закричал он сверху, — уральцы приехали?

— Не видала, Алёшка. Ленинградцев сейчас встретила да утром человек десять каких-то.

Кажется, опять украинцы.

— Ну, значит, ещё не приехали... Натка, — закричал он опять, вскакивая в седло велосипеда, — выкупаешься, зайди ко мне или к Фёдору Михайловичу! Есть важное дело.

— Какое ещё дело? — удивилась Натка, но Алёшка махнул рукой и умчался под гору.

Море было тихое; вода светлая и тёплая.

После всегда холодной и быстрой реки, в которой привыкла Натка купаться ещё с детства, плыть по солёным спокойным волнам показалось ей до смешного легко. Она заплыла далеко. И теперь отсюда, с моря, эти кипарисовые парки, зелёные виноградники, кривые тропинки и широкие аллеи — весь этот лагерь, раскинувшийся у склона могучей горы, показался ей светлым и прекрасным.

На обратном пути она вспомнила, что её просил зайти Алёшка. «Какие у него ко мне дела, да ещё важные?» — подумала Натка и, свернув на крутую тропку, раздвигая ветви, направилась в ту сторону, где стоял штаб лагеря.

Вскоре она очутилась на полянке, возле низенькой будки с водопроводным краном. Ей захотелось пить. Вода была тёплая и невкусная. Недавно неожиданно обмелел пополнявшийся горными ключами бассейн. В лагере встревожились, бросились разыскивать новые источники и наконец нашли небольшое чистое озеро, которое лежало в горах. Но работы подвигались что-то очень медленно.

Алёшу Николаева Натка не застала. Ей сказали, что он только что ушёл в гараж. Оказывается, у уральцев в двенадцати километрах от лагеря сломалась машина и они прислали гонцов просить о помощи.

Гонцы — это Толька Шестаков и Владик Дашевский — сидели тут же на скамейке, раскрасневшиеся и гордые. Однако гордость эта не помешала Тольке набить по дороге карманы яблоками, а Владика — запустить огрызком в спину какому-то толстому, неповоротливому мальчугану.

Мальчуган этот долго и сердито ворочался и всё никак не мог понять, от кого ему попало, потому что Толька и Владик сидели невозмутимые и спокойные.

— Ты откуда? Вас сколько приехало? — спросила Натка у неповоротливого и недогадливого паренька.

— Из-под Тамбова. Один я приехал, — басистым и застенчивым голосом ответил мальчуган. — Из колхоза я. Меня в премию послали.

— Как в премию? — не совсем поняла Натка.

— Баранкин моё фамилие. Семён Михайлов Баранкин, — охотно объяснил мальчуган. — А послали меня в премию за то, что я завод придумал.

— Какой завод?

— Походный, фильтровальный, — серьёзно ответил Баранкин, и, недоверчиво посмотрев в ту сторону, где сидели смиренные и лукавые гонцы, он добавил сердито: — И кто это в спину кидается? Тут и так вспотел, а ещё кидаются.

Натка не успела расспросить Баранкина подробнее, потому что с крыльца её окликнул высокий старик. Это и был начальник лагеря, Фёдор Михайлович.

— Заходи, — сказал он, пропуская Натку в комнату. — Садись. Вот что, Ната, — начал он таким ласковым голосом, что Натка сразу встревожилась, — в верхнем санаторном отряде заболел вожатый Корчаганов, а помощница его Нина Карашвили порезала ногу о камень. Ну конечно, нарыв. А у нас, сама видишь, сейчас приёмка, горячка; хорошо, ты так кстати подвернулась.

— Но я ничего не понимаю ни в приёмке, ни в горячке, — испугалась Натка, — Я и сама тут, Фёдор Михайлович, третий день.

— Да тебе и понимать ничего не надо, — взмахнул длинными, костлявыми руками напористый старик. — Там есть и фельдшерка и сестры. Они сами примут. А твоё дело что? Ты будешь вожатым. Ну, разобьёшь по звеньям, наметишь звеньевых, выберете совет отряда. Да что тебе объяснять? Была же ты вожатым!

— Два года, — сердито ответила Натка. — А долго ли, Фёдор Михайлович, этот Корчаганов болеть будет? Он, может быть, еще недели две пролежит?

— Что ты, что ты! — отмахиваясь руками и качая головой, заговорил начальник. — Ну, пять, шесть дней. А там снова гуляй, сколько хочешь. Вот и хорошо, что быстро договорились. Я люблю, чтоб быстро. Ну, а теперь иди, иди. А то Нина одна совсем запуталась.

— Да сколько хоть человек в этом отряде? — унылым голосом спросила Натка.

— Там узнаешь, иди, иди, — повторил старик, поднимаясь со скрипучего камышового стула. И, широко шагая к выходу, он добавил: — Вот и хорошо. Очень хорошо, что быстро договорились.

Всех отрядов в лагере было пять. Три дня в верхнем санаторном, куда неожиданно попала

вожатой Натка, бушевала неужёмная суета.

Только что прибыла последняя партия — средневожцы и нижегородцы. Девчата уже вымылись и разбежались по палатам, а мальчики, грязные и запылённые, нетерпеливо толпились у дверей ванной комнаты.

В ванную они заходили партиями по шесть человек. Дорвавшись до воды, они визжали, барахтались, плескались и затыкали пальцами краны так, что вода била брызгами в широко распахнутое окно, из-под которого уже несколько раз доносился строгий голос копавшегося в цветочных грядках чернорабочего Гейки.

— Будет, будет вам баловаться! — хриплым басом кричал в окно босой длиннородый Гейка. — Вот погодите, сорву крапиву да через окно крапивой. И что за баловная нация!...

Несколько раз забежал в ванную дежурный по отряду, веснушчатый пионер Иоська Розенцвейг, и, отчаянно картавя, кричал:

— Что за безобразия? Прекратите это безобразие! И новенькие ребята, которые ещё не знали, что сам-то Иоська всего только третий день в лагере, а озорник он ещё больший, чем многие из них, затихали. Под грозные Иоськины окрики они смущённо выскакивали из воды и, кое-как вытершись, натягивали трусы.

Выбегали они из ванной стайками. Чистые, в синих трусах, в серых рубахах с резинкой, и, ещё не успев подвязать красные галстуки, наперегонки неслись занять очередь к парикмахеру.

— Иоська! — окликнула Натка. — Вот что, дежурный. Всех, кто от парикмахера, направляй к фельдшеру — оспу прививать... А то как по площадке гоняться, то все тут, а как оспу прививать, то никого нет. Ну-ка, быстренько!

— Оспу! — выбегая на площадку, грозно кричал маленький и большеголовый Иоська. — Кто не прививал, вылетай живо!

— Нина! — окликнула Натка, увидав на террасе свою незадачливую помощницу, которая тихонько переступала, опираясь на бамбуковую палку. — Ты зачем ходишь? Ты сиди. Сколько у нас октябрят, Нина?

— Октябрят у нас десять человек, как раз звено. К ним звеньевым надо Розу Ковалёву. А как с черкесом Ингуловым? Он, Натка, ни слова по-русски.

— Ингулова, Нина, надо в то же звено, в котором казачонок-кубанец.

— Лыбатько?

— Ну да, Лыбатько. Он немного говорит по-черкесски. А башкирку Эмине оставь пока у октябрят. Они хорошо друг друга понимают и без языка. Вот она как носится!

Из-за угла стремительно вылетел дежурный Иоська.

— Время к ужину! — запыхавшись, крикнул он, отдуваясь и подпрыгивая, как будто кто-то поймал его арканом за ногу.

— Подавай сигнал, — ответила Натка, — сейчас я приду.

«Надо Иоську в звеньевые выделить, — подумала Натка. — Маленький, смешной, а проворный парень».

В половине девятого умывались, чистили зубы. С целой пачкой градусников приходила застывшая на ночь дежурная сестра, и Натка отправлялась с коротким рапортом о делах минувшего дня к старшему вожатому всего лагеря. После этого она была свободна.

Вечер был жаркий, лунный, и с волейбольной площадки, где играли комсомольцы, долго раздавались крики, удары мяча и короткие судейские свистки.

Но Натка не пошла к площадке, а, поднявшись в гору, свернула по тропинке, к подножию одинокого утёса.

Незаметно зашла она далеко, устала и села на каменную глыбу под стволом раскидистого

дуба.

Под обрывом чернело спокойное море. Где-то тарахтела моторная лодка. Тут только Натка разглядела, что почти рядом с ней, под тенью кипарисов, притаившись у обрыва, под скалой, без света в окнах, стоит маленький, точно игрушечный, домик.

Чи-то шаги послышались из-за поворота, и Натка подвинулась глубже в чёрную тень листы, чтобы её не заметили. Вышли двое. Луна осветила их лица. Но даже в самую чёрную ночь Натка узнала бы их по голосам.

Это был тот высокий, белокурый, во френче, а рядом с ним, держась за руку, шагал маленький Алька.

Перед тем как подойти к дереву, в тени которого пряталась Натка, они, по-видимому, о чём-то поспорили и несколько шагов прошли молча.

— А как по-твоему, — останавливаясь, спросил высокий, — стоит ли нам, Алька, из-за таких пустяков ссориться?

— Не стоит, — согласился мальчуган и добавил сердито: — Папка, папка, ты бы меня хоть на руки взял. А то мы всё идём да идём, а дома всё нет и нет.

— Как нет? Вот мы и пришли! Ну, смотри — вот дом, а вот я уже и ключ вынул.

Они свернули к крыльцу, и вскоре в крайнем окошке, выходящем на море, вспыхнул свет.

«Они через Севастополь приехали, — догадалась Натка. — Что же они здесь делают?»

В комнате у дежурной сестры Натке сказали, что Толька Шестаков, подкравшись на четвереньках в палату к девочкам, тихонько схватил башкирку Эмине за пятку, отчего эта башкирка ужасно заорала, да рыжеволосая толстушка Вострецова долго хохотала и мешала девочкам спать. А в общем, улеглись спокойно. Это порадовало Натку, и она пошла за угол в свою комнатку, которая была здесь же, рядом с палатами.

Ночь была душная. Ночью в море что-то гремело, но спала Натка крепко и к рассвету увидела хороший сон. Проснулась Натка около семи. Завернувшись в простыню, она пошла под душ. Потом босиком вышла на широкую террасу.

Далеко в море дымили уходящие к горизонту военные корабли. Отовсюду из-под густой непросохшей зелени доносилось звонкое щебетанье. Неподалёку от террасы чернорабочий Гейка колот дрова.

— Хорошо! — негромко крикнула Натка и рассмеялась, услышав откуда-то из-под скалы такой же, как и её, вскрик — весёлое, чистое эхо.

— Натка... ты что? — услышала она позади себя удивлённый голос.

— Корабли, Нина... — не переставая улыбаться, ответила Натка, указывая рукой на далёкий сверкающий горизонт.

— А ты слышала, Натка, как сегодня ночью они в море бахали? Я проснулась и слышу: у-ух! у-ух! Встала и пошла к палатам. Ничего, все спят. Один Владик Дашевский проснулся. Я ему говорю: «Спи». Он лёг. Я — из палаты. А он шарах на террасу. Забрался на перила, ухватился руками за столб, и не оторвёшь его. А в море огни, взрывы, прожекторы. Мне и самой-то интересно. Я ему говорю: «Иди, Владик, спать». И просила, и ругала, и обещала на линейке вызвать. А он стоит молчит, ухватился за столб и как каменный. Неужели ты ничего не слышала?

— Нина, — помолчав, спросила Натка, — ты не встречала здесь таких двоих?... Один высокий, в сапогах и в сером френче, а с ним маленький, белокурый, темноглазый мальчуган.

— В сером френче... — повторила Нина. — Нет, Натка, в сером френче с мальчуганом не встречала. А кто это?

— Я и сама не знаю. Такой забавный мальчуган.

— Видела я человека во френче, — не сразу вспомнила Нина... — Только тот был без

мальчугана и ехал верхом по тропке в горы. Конь у него был высокий, худой, а сапоги грязные.

— И большой шрам на лице, — подсказала Натка.

— Да, большой шрам на лице. Это кто, Натка? — спросила Нина и с любопытством посмотрела на по-другу.

— Не знаю, Нина.

— Я встал, можно звонить подъем? — басистым голосом сообщил, выдвигаясь из-за двери, дежурный.

— Можно, — сказала Натка. — Звони. «Экий увалень!» — подумала она, глядя, как, размахивая короткими руками, Баранкин уверенно направился к колоколу.

Это и был тот самый пионер тамбовского колхоза Баранкин, которого послали «в премию» за то, что он во время весеннего сева организовал походный ремонтно-фильтровальный завод.

Всё оборудование этого завода умещалось на ручной тележке и состояло из двух лоханей, одного решета, трёх старых мешков, двух скребков и кучи тряпок. И, выезжая в поле за тракторами, этот ребячий завод фильтровал воду для моторов и во время стоянок очищал тракторы от грязи.

Баранкин подошёл к колоколу, крепко зажал в кулак конец лохматой бечёвки и ударил так здорово, что разом обернувшиеся Нина и Натка закричали ему, чтобы он звонил потише.

Среди соснового парка, на песчаном бугре, ребята, разбившись кучками, расположились на отдых.

Занимался каждый чем хотел. Одни, собравшись возле Натки, слушали, что читала она им о жизни негров, другие что-то записывали или рисовали, третьи потихоньку играли в камешки, четвёртые что-то строгаили, пятые просто ничего не делали, а, лёжа на спине, считали шишки на соснах или потихоньку баловались.

Владик Дашевский и Толька Шестаков разместились очень удобно. Если они повёртывались на правый бок, было слышно то, что читала Натка про негров. Если на левый, им было слышно то, что читал Иоська про полярные путешествия ледокола «Малыгин». Если отползти немного назад, то можно было из-за куста, и очень незаметно, запустить в спину Кашину и Баранкину еловую шишку. И, наконец, если подвинуться немного вперёд, можно было кончиком прута пощекотать пятки башкирки Эмине, которая бойко обставляла в камешки трёх русских девочек и затесавшегося к ним октябрёнка Карасикова.

Так они и сделали. Послушали и про негров и про ледокол. Бросили две шишки в спину Баранкину, но не решились провести Эмине прутом по пяткам, потому что заранее знали, что подпрыгнет она с таким визгом, как будто её за ногухватила собака.

— Толька, — спросил Владик, — а ты слышал, как ночью сегодня бабахнуло? Я сплю, вдруг бабах... бабах... Как на фронте. Это корабли в море стреляли. У них манёвры, что ли. А я, Толька, на фронте родился.

— Врать-то! — равнодушно ответил Толька. — Ты всегда что-нибудь да придумаешь.

— Ничего не врать, мне мама всё рассказала. Они тогда возле Брест-Литовска жили. Ты знаешь, где в Польше Брест-Литовск? Нет? Ну, так я тебе потом на карте покажу. Когда пришли в двадцатом красные, этого мать не запомнила. Тихо пришли. А вот когда красные отступали, то очень хорошо запомнила. Грохот был или день, или два. И день и ночь грохот. Сестрёнку Юльку да бабку Юзефу мать в погреб спрятала. Свечка в погребе горит, а бабка всё бормочет, молится. Как чуть стихнет, Юлька наверх вылезает. Как загрохочет, она опять нырк в погреб.

— А мать где? — спросил Толька. — Ты всё рассказывай, по порядку.

— Я и так по порядку. А мать всё наверху бегаёт: то хлеб принесёт, то кринку молока достанет, то узлы завязывает. Вдруг к ночи стихло. Юлька сидит. Нет никого, тихо. Хотела она вылезти.

Толкнулась, а крышка погребка заперта. Это мать куда-то ушла, а сверху ящик поставила, чтобы она никуда не вылезала. Потом хлопнула дверь — это мать. Открыла она погреб. Запыхалась, сама растрёпанная. «Вылезайте», — говорит. Юлька вылезла, а бабка не хочет. Не вылезает. Насилу уговорили её. Входит отец с винтовкой. «Готовы? — спрашивает. — Ну, скорее». А бабка не идёт и злобно на отца ругается.

— Чего же это она ругалась? — удивился Толька.

— Как отчего? Да оттого ругалась, зачем отец поляк, а с русскими красными уходит.

— Так и не пошла?

— И не пошла. Сама не идёт и других не пускает. Отец как посадил её в угол, так она и села.

Вышли наши во двор да на телегу. А кругом всё горит: деревня горит, костёл горит... Это от снарядов. А дальше у матери всё смешалось как отступали, как их окружали, потому что тут на дороге я родился. Из-за меня наши от красных отбились и попали в плен к немцам, в Восточную Пруссию. Там мы четыре или пять лет и прожили.

— Отец-то почему с винтовкой приходил?

— А он, Толька, в народной милиции был. Когда в Польшу пришли красные, так у нас народная милиция появилась. Помещиков ловили и ещё там разных... Как поймают, так и в ревком.

— Нельзя было отцу оставаться, — согласился Толька. — Могли бы, пожалуй, потом и повесить.

— Очень просто. У нас дедушка нигде не был, только в ревкоме рассылным, и то год в тюрьме держали. А сестра у меня — ей уже сейчас двадцать восемь лет — так она и теперь в тюрьме сидит. Сначала посадили её — три года сидела. Потом выпустили — три года на воле была. Теперь опять посадили. И уже четыре года сидит.

— Скоро опять выпустят?

— Нет, ещё не скоро. Ещё четыре года пройдёт, тогда выпустят. Она в Мокотовской тюрьме сидит. Оттуда скоро не выпускают.

— Она коммунистка?

Владик молча кивнул головой, и оба притихли, обдумывая свой разговор и прислушиваясь к тому, что читала Натка о неграх.

— Толька! — тихо и оживлённо заговорил вдруг Владик. — А что, если бы мы с тобой были учёные? Ну, химики, что ли. И придумали бы мы с тобой такую мазь или порошок, которым если натрёшься, то никто тебя не видит. Я где-то такую книжку читал. Вот бы нам с тобой такой порошок!

— И я читал... Так ведь всё это враки, Владик, — усмехнулся Толька.

— Ну и пусть враки! Ну, а если бы?

— А если бы? — заинтересовался Толька. — Ну, тогда мы с тобой уж что-нибудь придумали бы.

— Что там придумывать! Купили бы мы с тобой билеты до заграницы.

— Зачем же билеты? — удивился Толька. — Ведь нас бы и так никто не увидел.

— Чудак ты! — усмехнулся Владик. — Так мы бы сначала не натёршись поехали. Что нам на советской стороне натираться? Доехали бы мы до границы, а там пошли бы в поле и натёрлись. Потом перешли бы границу. Стоит жандарм — мы мимо, а он ничего не видит.

— Можно было бы подойти сзади да кулаком по башке стукнуть. — предложил Толька.

— Можно, — согласился Владик. — Он, поди-ка, тоже, как Баранкин, всё оглядывался бы, оглядывался: откуда это ему попало?

— Вот уж нет, — возразил Толька. — В Баранкина это мы потихоньку, в шутку. А тут так дёрнули бы, что, пожалуй, и не завертишься. Ну ладно! А потом?

— А потом... потом поехали бы мы прямо к тюрьме. Убили бы одного часового, потом дальше... Убили бы другого часового. Вошли бы в тюрьму. Убили бы надзирателя...

— Что-то уж очень много убили бы, Владик! — поёжившись, сказал Толька.

— А что их, собак, жалеть? — холодно ответил Владик. — Они наших жалеют? Недавно к отцу товарищ приехал. Так когда стал рассказывать отцу про то, что в тюрьмах делается, то меня мать на улицу из комнаты отослала. Тоже умная! А я взял потихоньку сел в саду под окошком и всё до слова слышал. Ну вот, забрали бы мы у надзирателя ключи и отворили бы все камеры.

— И что бы мы сказали? — нетерпеливо спросил Толька.

— Ничего бы не сказали. Крикнули бы: «Бегите, кто куда хочет!»

— А они бы что подумали? Ведь мы же натёртые, и нас не видно.

— А было бы им время раздумывать? Видят — камеры отперты, часовые побиты. Небось сразу бы догадались.

— То-то бы они обрадовались, Владик!

— Чудак! Просидишь четыре года да ещё четыре года сидеть, конечно, обрадуешься... Ну, а потом... потом зашли бы мы в самую богатую кондитерскую и наелись бы там разных печений и пирожных. Я один раз в Москве четыре штуки съел. Это когда другая сестра, Юлька, замуж выходила.

— Нельзя наедаться, — серьёзно поправил Толька. — Я в этой книжке читал, что есть ничего нельзя, потому что пирожные — они ведь не натёртые, их наешься, а они в животе просвечивать будут.

— А ведь и правда будут! — согласился Владик. И оба они расхохотались.

— Сказки всё это, — помолчав, сознался и сам Владик. — Всё это сказки. Чепуха!

Он отвернулся, лёг на спину и долго смотрел в небо, так что Тольке показалось, что он прислушивается к тому, что читает Натка.

Но Владик не слушал, а думал о чём-то другом.

— Сказки, — повторил он, поворачиваясь к Тольке. — А вот в Австрии есть коммунист один. Он раньше солдатом был. Потом стал коммунистом. Так этот и без всяких натираний невидимый.

Как — невидимый? — насторожился Толька.

— А так. С тех пор как убежал он из тюрьмы, три года его полиция ищет и всё никак найти не может. А он то здесь появится, то там, у нас. Во Львове он прямо открыто на собрании деповских рабочих выступил. Все так и ахнули. Пока полиция прибежала, а он уже полчаса проговорил.

— Ну, и что же полиция? Ну, и куда же он девался?

— А вот поди спроси — куда, — с гордостью ответил Владик. — Как только полиция в двери, вдруг хлоп... свет погас. А окон много, и все окна почему-то распахнуты. Кинулась полиция к механику, а механик кричит, ругается. «Идите, — говорит, — к чёрту! У меня и без того беда: кажется, обмотка якоря перегорела».

— Так это он нарочно! — с восхищением воскликнул Толька.

— А вот поди-ка ты докажи, нарочно или не нарочно, — усмехнулся Владик и добавил уже снисходительно: — Рабочие прячут, оттого и невидимый. А ты что думал? Порошок, что ли?

Издали донёсся гул колокола — к обеду, и ребяташки, хватая подушки, простыни и полотенца, с визгом повскакали со своих мест.

После обеда полагалось ложиться отдыхать. Но в третьей палате плотники ещё с утра пробивали новую дверь на террасу. Койки были вынесены, на полу валялись стружки и штукатурка, а плотники запаздывали.

Поэтому второму звену разрешено было отдыхать в парке.

Владик и Толька забрались в орешник. Толькавскоре задремал, но Владик не спалось. Он ждал сегодня важного письма, но почтальон к обеду почему-то не приехал.

Владик вертелся с боку на бок и с завистью глядел на спокойно похрапывающего Тольку. Вскоре вертеться ему надоело, он приподнялся и подёргал Тольку за ногу:

— Вставай, Толька! Чего спишь? Ночью выспишься. Но Толька дрыгнул ногой и повернулся к

Владуку спиной. Владик рассердился и дёрнул Тольку за руку:

— Вставай... вставай, Толька! Кругом измена! Все в плену. Командир убит... Помощник контужен. Я ранен четырежды, ты трижды. Держи знамя! Бросай бомбы! Трах-та-бабах! Отобьёмся!...

И, всучив ошалелому Тольке полотенце вместо знамени и старый сандалий вместо бомбы, Владик потащил товарища через кусты под горку.

— За такие дела можно и по шее... — начал было рассерженный Толька.

— Отбились! — торжественно заявил Владик. — За такие геройские дела представляю тебя к ордену. — И, сорвав колючий репейник, Владик прицепил его к Толькиной безрукавке. — Брось, Толька, дуться! Вон под горою какой-то дом. Вон за горою какая-то вышка. Вон там, в овраге, что-то стучит. Вон под ногами у нас кривая тропка. Что за дом? Что за вышка? Кто стучит? Куда тропка? Гайда, Толька! Все спят, никого нет, и мы всё разведаем.

Толька зевнул, улыбнулся и согласился.

Быстро, но осторожно, чтобы никому не попасться на глаза, они перебежали дорожки, ныряли в чащу кустарника, пролезали через колючие ограды, ползли вверх, спускались вниз, ничего не оставляя на своём пути незамеченным.

Так они наткнулись на ветхую беседку, возле которой стояла позеленевшая каменная статуя. Потом нашли глубокий заброшенный колодец. Затем попали в фруктовый сад, откуда мгновенно умчались, заслышав ворчанье злой собаки.

Продравшись через колючие заросли дикой ажины, они очутились на заднем дворе небольшой лагерной больницы.

Они осторожно заглянули в окно и в одной из палат увидели незнакомого мальчишку, который, скучая, лениво вертел красное яблоко.

Они легонько постучали в стекло и приветливо помахали мальчишке руками. Но мальчишка рассердился и показал им кулак. Они обиделись и показали целых четыре. Тогда злорадный мальчишка неожиданно громко заорал, призывая няньку. Испуганные ребята разом перемахнули через ограду и помчались наугад по тропинке.

Вскоре они очутились высоко над берегом моря. Слева громоздились изрезанные ущельями горы. Справа, посреди густого дубняка и липы, торчали остатки невысокой крепости.

Ребята остановились. Было очень жарко.

Торжественно гремел из-за пыльного кустарника мощный хор невидимых цикад.

Внизу плескалось море. А кругом — ни души.

— Это древняя крепость, — объяснил Владик. — Давай, Толька, поищем, может быть, и наткнёмся на что-нибудь старинное.

Искали они долго. Они нашли выцветшую папиросную коробку, жестяную консервную банку, стоптанный башмак и рыжий собачий хвост. Но ни старинных мечей, ни заржавленных доспехов, ни тяжёлых цепей, ни человеческих костей им не попалось.

Тогда, раздосадованные, они спустились вниз. Здесь, под стеной, меж колючей травы, они наткнулись на тёмное, пахнущее сыростью отверстие.

Они остановились, раздумывая, как быть. Но в это время издалека, от лагеря, похожий отсюда на комариный писк, раздался сигнал к подъёму.

Надо было уходить, и они решили вернуться сюда ещё раз, захватив бечёвку, палку, свечку и спички.

Полдороги они пробежали молча. Потом устали и пошли рядом.

— Владик, — с любопытством спросил Толька, — вот ты всегда что-нибудь выдумываешь. А хотел бы ты быть настоящим старинным рыцарем? С мечом, со щитом, с орлом, в панцире?

— Нет, — ответил Владик. — Я хотел бы быть не старинным, со щитом и с орлом, а

теперешним, со звездой и с маузером. Как, например, один человек.

— Как кто?

— Как Дзержинский. Ты знаешь, Толька, он тоже был поляк. У нас дома висит его портрет, и сестра под ним написала по-польски: «Милый рыцарь. Смелый друг всего пролетариата». А когда он умер, то сестра в тюрьме плакала и вечером на допросе плюнула в лицо какому-то жандармскому капитану.

Пароход с почтой запоздал, и поэтому толстый почтальон, тяжело пыхтя и опираясь на старую суковатую палку, поднялся в гору только к ужину.

Отмахиваясь от обступивших его ребят, он называл их по фамилиям, а тех, кого знал, то и просто по именам.

— Коля, — говорил он басом и тащил за рукав тихо стоявшего мальчугана, — ну-ка, брат, распишись. Да не лезьте под руки, озорной народ! Дайте человеку расписаться. Тебе, Мишаков, нет письма. Тебе, Баранкин, письмо. И кто это тебе такие толстые письма пишет?

— Это мне брат из колхоза пишет, — громко отвечал Баранкин, крепко напирая плечом и протискиваясь сквозь толпу ребят. — Это брат Василий. У меня два брата. Есть брат Григорий — тот в Красной Армии, в броневом отряде. А это брат Василий — он у нас в колхозе старшим конюхом. Григория взяли, а Василий уже отслужил. У нас три брата да три сестры. Две грамотные, а одна ещё неграмотная, мала девка.

— А тёток у тебя сколько?

— А корова у вас есть?

— А курицы есть? А коза есть? — закричали Баранкину сразу несколько человек.

— Тёток у меня нет, — охотно отвечал Баранкин, протягивая руку за шершавым пакетом. — Корова у нас есть, свинью закололи, только поросёнок остался. А коз у нас в деревне не держат. От козы нам пользы мало, только огороду потрава. И что смеётесь? — добродушно и удивлённо обернулся он, услышав вокруг себя дружный смех. — Сами спрашивают, а сами смеются.

Когда уже большинство ребят разошлись, то подошёл Владик Дашевский и спросил, нет ли письма ему. Письма не было. Он неожиданно погрозил пальцем почтальону, потом равнодушно засвистел и пошёл прочь, сбивая хлыстиком верхушки придорожной травы.

Натка Шегалова получила заказное с Урала от подруги — от Веры.

Сразу после ужина весь санаторный отряд ушёл с Ниной на нижнюю площадку, где затевались игры.

В просторных палатах и на широкой лужайке перед террасой стало по-необычному тихо и пусто.

Натка прошла к себе в комнату, распечатала письмо, из которого выпал потёртый и почему-то пахнувший керосином фотоснимок.

Возле толстого, охваченного чугунными брусьями столба, опустившись на одно колено и оттягивая пряжки кривой железной «кошки», стояла Вера. Её чёрная глухая спецовка была перетянута широким брезентовым поясом, а к металлическим кольцам пояса были пристёгнуты молоток, плоскогубцы, кусачки и ещё какие-то инструменты.

Было понятно и то, что Верка собирается забраться на столб и что она торопится, потому что неподалёку от неё смотрел на провода не то инженер, не то электротехник, а рядом с ним стоял кто-то маленький, черноволосый — вероятно, бригадир или десятник. И лицо у этого черноволосого было озабоченное и сердитое, как будто его только что крепко выругали. День был солнечный. Вдалеке виднелись неясные громады незаконченных построек и клочья густого, чёрного дыма.

Письмо было короткое. Верка писала, что жива, здорова. Что практика скоро кончается. Что за

работу по досрочному монтажу понижающей подстанции она получила премию. Что за короткое замыкание она получила выговор. А в общем, всё хорошо — устала, поздоровела и перед началом занятий обязательно заедет с Урала в Москву, и там хорошо бы с Наткой встретиться.

Натка задумалась. Она с любопытством посмотрела ещё раз на чёрную пыльную спецовку, на тяжёлые, толстые ботинки, на ту торопливую хватку, с которой пристёгивала Верка железные десятифунтовые «кошки», и с досадой отодвинула фотоснимок, потому что она завидовала Верке.

Неожиданно обе половины оконной занавески раздвинулись, и оттуда высунулась круглая голова Баранкина.

— Баранкин, — удивилась и рассердилась Натка, — ты почему не на площадке? Ребята играют, а ты что?

— Это не игра, — убеждённо произнёс Баранкин, наваливаясь грудью на подоконник. — Ну, завязали мне ноги в мешок, — беги, говорят. Я шагнул и — бац на землю. Шагнул — и опять бац. А они смеются. Потом положили в ложку сырое яйцо, дали в руки и опять — беги! Конечно, яйцо хлоп и разбилось. Разве же это игра? У нас в колхозе за такую игру и хворостиной недолго. — Он укоризненно посмотрел на Натку и добродушно добавил: — Я тут буду. Никуда не денусь. А лучше пойду помогу Гейке дрова пилить.

Круглая голова Баранкина скрылась.

Но через минуту раскрасневшееся лицо его опять просунулось в комнату.

— Забыл, — спокойно сказал он, увидав недовольное лицо Натки. — Проходил мимо площадки, где комсомольцы в мяч играют. Остановили и наказывают: беги шибче, и если Шегалова свободна, пусть скорее идёт. Совсем забыл, — повторил он и, неловко улыбнувшись, почему-то вспомнил: — У нас в колхозе как-то ночью амбар подожгли. Брата не было. Кинулся в сарай лошадь запрягать — темно. А чересседельник с гвоздя как соскочит да мне прямо по башке. Так всю память и отшибло. Насилу я во двор вылез. А амбар горит, горит...

— Баранкин, — спросила Натка, положив руку на его крепкое плечо, — у тебя мать есть?

— Есть. Александрой зовут, — охотно и обрадовано ответил Баранкин. — Александра Тимофеевна. Она у нас в колхозе скотницей. Всю эту весну пролежала. Теперь ничего... поздоровела. Бык её в грудь боднул. У нас хороший бык, породистый. В Моршанске прошлую зиму колхоз за шестьсот рублей купил... Иду, иду! — крикнул Баранкин, оборачиваясь на чей-то далёкий хриплый окрик. — Это Гейка зовёт, — объяснил он. — Мы с ним дружки.

Когда Натка спускалась к площадке, солнце уже скрывалось за морем. Бесшумно заскользили серые вечерние стрижи. Задымили сторожевые костры на виноградниках. Зажглись зелёные огни створного маяка. Ночь надвигалась быстро, но игра была в самом разгаре.

«Хорошие свечки даёт Картузик», — подумала Натка, глядя на то, как тугой мяч гулко взвился к небу, повис на мгновение над острыми вершинами старых кипарисов и по той же прямой плавно рванулся к земле. Натка подпрыгнула, пробуя, крепко ли затянуты сандалии, поправила косынку и, уже не спуская глаз с мяча, подбежала к сетке и стала на пустое место, слева от Картузика.

— Пасовать, — вполголоса строго сказал ей Картузик.

— Есть пасовать, — также вполголоса ответила она и сильным ударом послала мяч далеко за сетку.

— Пасовать, — повторил Картузик. — Спокойней, Натка.

Но вот он, кручёный, хитрый мяч, метнулся сразу на третью линию. Отбитый косым ударом, мяч взвился прямо над головой отпрыгнувшего Картузика.

— Дай! — вскрикнула Натка Картузику.

— Возьми! — ответил Картузик.

— Режь! — вскрикнула Натка, подавая ему невысокую свечку.

— Есть! — ответил он и с яростью ударил по мячу вниз.

— Один — ноль, — объявил судья и, засвистев, предупредил: — Шегалова и Картузик, не переговариваться, а то запишу штрафное очко.

Натка рассмеялась. Невозмутимый Картузик улыбнулся, и они хитро и понимающе переглянулись.

— Шегалова, — крикнул ей кто-то из ребят, — тебя Алёша Николаев зачем-то ищет!

— Ещё что! — отмахнулась Натка. — Что ему ночью надо? Там Нина осталась.

Темнота сгушалась. На счёте «один — ноль» догорела заря. На «восемь — пять» зажглись звёзды. А когда судья объявил сэт-бол, то из-за гор вылезла такая ослепительно яркая луна, что хоть опять начинай всю игру сначала.

— Сэт-бол! — крикнул судья, и почти тотчас же чёрный мяч взвился высоко над серединой сетки.

«Дай!» — глазами попросила Натка у Картузика. «Возьми!» — ответил он молчаливым кивком головы.

«Режь!» — зажмуривая глаза, вздрогнула Натка и ещё втёмную услышала глухой удар и звонкий свисток судьи.

— Шегалова и Картузик, не переговариваться! — добродушно сказал судья. Но уже не в виде замечания, а как бы предупреждая.

Возвращаясь домой, Натка встретила Гейку; он волок за собой под гору целую кучу гремящих и подпрыгивающих жердей. Узнав Натку, он остановился. — Фёдор Михайлович спрашивал, — угрюмо сообщил он Натке. — Меня посылали искать, да я не нашёл. Не знаю, зачем-то шибко ему понадобились.

«Что-нибудь случилось?» — с тревогой подумала Натка и круто свернула с дороги влево. Маленькие камешки с шорохом посыпались из-под её ног. Быстро перепрыгивая от куста к кусту, по ступенчатой тропинке она спустилась на лужайку.

Всё было тихо и спокойно. Она постояла, раздумывая, стоит ли идти в штаб лагеря или нет, и, решив, «то всё равно уже поздно и все спят, тихонько прошла в коридор. Прежде чем зайти к дежурной и узнать, в чём дело, она зашла к себе, чтобы вытряхнуть из сандалий набившиеся туда острые камешки. Не зажигая огня, она села на кровать. Одна из пряжек что-то не расстёгивалась, и Натка потянулась к выключателю. Но вдруг она вздрогнула и притихла: ей показалось, что в комнате она не одна.

Не решаясь пошевелинуться, Натка прислушалась и теперь, уже ясно расслышав чьё-то дыхание, поняла, что в комнате кто-то спрятан. Она тихонько повернула выключатель.

Вспыхнул свет.

Она увидела, что у противоположной стены стоит небольшая железная кровать, а в ней крепко и спокойно спит всё тот же и знакомый и незнакомый ей мальчуган. Всё тот же белокурый и темноглазый Алька.

Всё это было очень неожиданно, а главное — совсем непонятно.

Свет ударил спящему Альке в лицо, и он заворочался. Натка сдёрнула синий платок и накинула его поверх абажура.

Зашуршала дверь, и в комнату просунулось сонное лицо дежурной сестры.

— Ольга Тимофеевна, — полущёпотом спросила Натка, — кто это? Почему это?

— Это Алька, — равнодушно ответила дежурная. — Тебя весь вечер искали, искали. Тебе на столе записка.

Записка была от Алёшки Николаева. «Натка! — писал Алёша. — Это Алька, сын инженера Ганина, который работает сейчас по водопроводке у Верхнего озера. Сегодня случилась беда: перерезали подземный ключ, и вода затопляет выемки. Сам инженер уехал к озеру. Ты не

сердись — мы поставили пока кровать к тебе, а завтра что-нибудь придумаем».

Возле кровати стояла белая табуретка. На ней лежали синие трусики, голубая безрукавка, круглый камешек, картонная коробочка и цветная картинка, изображавшая одинокого всадника, мчавшегося под ослепительно яркой пятиконечной звездой.

Натка открыла коробочку, и оттуда выпрыгнули к ней на колени два серых кузнечика.

Натка тихонько рассмеялась и потушила свет. На Алёшу Николаева она не сердилась.

Не доезжая до верхних барачков у новой плотины, инженер свернул ко второму участку. Ещё издали он увидел в беспорядке выкинутые на берег тачки, мотыги и лопаты. Очевидно, вода застала работавших врасплох.

Инженер соскочил с коня. Мутная жижа уже больше чем на полтора метра залила выемку. В воде торчал невыдернутый разметочный кол и спокойно плавали две деревянные лопаты.

Инженер понял, что, поднявшись ещё на полметра, вода пойдёт назад, заливая соседнюю впадину, а когда вода поднимется ещё на метр, перельётся через гребень и, круто свернув направо, затопит и сорвёт первый участок, на котором шли работы по прокладке деревянных желобов.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — закричал старший десятник Дягилев, спускаясь с горы впереди двух подвод, которые, с треском ломая кустарник, волокли доски и брёвна.

— Когда прорвало? — спросил инженер. — Шалимов где?

— Разве же с таким народом работать можно, Сергей Алексеевич? С таким народом только из пустого в порожнее переливать. Прорвало часов в девять. Шалимовская бригада работала... Как рвануло это снизу, им бы сейчас же брезент тащить да камнями заваливать, а они — туды, сюды, меня искать... Пока то да сё, пока меня разыскали, а её — дыру-то — чуть ли не в сажень разворотило.

— Шалимов где? — Сейчас придёт. В своей деревне рабочих собирает.

Всю ночь стучали топоры, полыхали костры и трещали смоляные факелы. К рассвету сколотили плот и целых три часа сбрасывали рогожные кули со щебнем в то место, откуда била прорвавшаяся вода.

И когда наконец, сбросив последнюю груды балласта, забили подводную дыру, мокрый, забрызганный грязью инженер вытер покрасневшее лицо и сошёл на берег.

Но едва только он опустился на колени, доставая из костра горящий уголёк, как на берегу раздались шум, крики и ругань. Он вскочил и отшвырнул нераскуренную папиросу.

Вырываясь со дна гораздо правее, чем в первый раз, вода клокотала и пенилась, как в кипящем котле. Закупоренную родниковую жилу прорвало в другом месте и, по-видимому, прорвало ещё сильнее, чем прежде.

Мимо обозлённых землекопов инженер подошёл к Дягилеву и Шалимову. Он повёл их по краю лощины к тому месту, где лощина была перегорожена невысокой, но толстой каменной грядой.

— Вот! — сказал он. — Поставим сюда тридцать человек. Ройте поперёк, и мы спустим воду по скату.

— Грунт-то какой, Сергей Алексеевич! — возразил Дягилев, переглядываясь с Шалимовым. — Хорошо, если сначала от силы метров сорок за сутки возьмём, а дальше, сами видите, голый камень.

— Ройте, — повторил инженер. — Ройте посменно, без перерыва. А дальше взорвём динамитом.

— Нет у нас динамита, Сергей Алексеевич, напрасно только людей измотаем.

— Ройте, — отвязывая повод застоявшегося коня, повторил инженер. — Надо достать, а то пропала вся наша работа.

Спустившись в лагерь и не заходя к Альке, инженер пошёл к телефону и долго, настойчиво вызывал Севастополь. Наконец он дозвонился, но из Взрывсельпрома ему ответили, что без наряда от Москвы динамита ему не могут отпустить ни килограмма.

Выехав на шоссейную дорогу, инженер повернул направо и по-над берегом моря рысью поскакал к мысу, где среди скалистого парка высились красивые белые здания. Это было прежде богатое поместье, а теперь шеф пионерского лагеря, дом отдыха ЦИК и Совнаркома — Ай-Су.

Соскочив у высокой узорной решётки, он зашёл в дежурку и спросил, есть ли среди отдыхающих товарищи Самарин или Гитаевич. Ему ответили, что Самарин ещё с утра уехал в Ялту и вернётся только к вечеру, а Гитаевич здесь.

Инженер взял пропуск и, похлопывая плетью о голенище грязного сапога, пошёл к виднеющемуся в глубине аллеи просвету.

Гитаевича он встретил у лесенки, ведущей к морю. Это был черноволосый с проседью человек в больших круглых очках, с широкой чёрной бородой.

— Здравствуйте! — громко сказал инженер, прикладывая руку к козырьку.

Гитаевич с удивлением посмотрел на этого внезапно возникшего человека в грязных сапогах и в запачканном глиною френче.

— Ба!... Ба!... Сергей! — улыбаясь, заговорил он резким, каркающим голосом. — Откуда? И в каком виде — сапоги, френч... нагайка! Что ты, прямо из разведки в штаб полка?

— Дело, товарищ Гитаевич, — сказал Сергей, сжимая протянутую руку. — Спешное дело.

— Уволь, уволь, — заговорил Гитаевич, усаживаясь на скамейку. — Газет не читаю, телеграмм не распечатываю. О чём хочешь? Старину вспомним... дивизию, Бессарабию. Так поговорим — это с большим удовольствием, а от дела избавь. У меня здесь ни чина, ни должности, ни обязанностей. Лежу на солнышке да вот, видишь, стихи читаю.

— Дело, товарищ Гитаевич, — упрямо повторил Сергей. — Если бы не важное, то и не просил бы.

— Палицын где?... Матусевич? И этот... как его? Ну, со шрамом на щеке... Ах ты! Да как же его, этого, что со шрамом? — как бы не расслышав Сергея, продолжал Гитаевич.

— Много со шрамами было, товарищ Гитаевич. Я и сам со шрамом, — продолжал Сергей. — Мне динамит нужен. Взрывсельпром не даёт. Говорит, Москву запрашивать надо. А если вы напишете, то даст. Ваш дом отдыха — наш шеф. Вы отдыхаете, значит, вы тоже шеф.

— Какой динамит? Какие шефы? — с раздражением и беспокойством переспросил Гитаевич. — И откуда ты на мою голову свалился? Я выкупался, иду, читаю стихи, а он вдруг: дело... динамит... шефы... Ну, что у тебя такое? Наверное, какая-нибудь ерунда?

— Дело ерундовое, — согласился Сергей и рассказал всё, что ему было нужно.

Окончилось тем, что Гитаевич поморщился, взял проткнутую ему бумагу, карандаш, что-то написал и передал Сергею.

— Возьми, — грубовато сказал он. — От тебя не отстанешь.

— Ваша школа, товарищ Гитаевич, — ответил Сергей и, спрятав бумагу, добавил: — Знавал я на Украине одного комиссара дивизии, которого однажды командующий на гауптвахту посадил. Иначе, говорит, этот не отстанет.

Прищурился под дымчатыми стёклами узкие строгие глаза, Гитаевич взглянул искоса и насмешливо, как бы подбадривая Сергея: ну, дескать, продолжай, продолжай. Но Сергей теперь и сам неспроста посматривал на Гитаевича и молча доставал из портсигара папиросу.

— Так посадил, говоришь? — неожиданно весёлым, но всё тем же каркающим голосом спросил Гитаевич, и, взяв Сергея за руку, он дружески хлопнул его по плечу. — Давно это было,

Сергей, — уже тише добавил он.

— Давно, товарищ Гитаевич.

— Так ты теперь не в армии?

— Инженер. Командир запаса.

— Почему же, Серёжа, ты инженер? Я что-то не припоминаю, чтобы у тебя какие-нибудь инженерские задатки были... Постой, куда же ты? — спросил Гитаевич, увидав, что Сергей поднимается и застёгивает полевую сумку. — Да, у тебя динамит. Ну, когда выберешь свободное время, заходи. Только заходи без всякого дела. Пойдём к морю, выкупаемся, поговорим. Ты один? — глядя в лицо Сергея и почему-то тише и ласковей спросил Гитаевич.

— Один. То есть нас двое — я и Алька, — ответил Сергей. — Двое, я и сын, — повторил он и замолчал.

— Ну, до свиданья, — сказал Гитаевич, который, по-видимому, что-то хотел сказать или о чём-то спросить, но раздумал — не сказал и не спросил, а только крепче, чем обыкновенно, пожал протянутую ему руку.

Чтобы сократить путь к озеру, Сергей взял наперерез через тропку, но, ещё не доезжая до перевала, он вспомнил, что позабыл заехать в лагерь и заказать машину на Севастополь. Досадуя на свою оплошность и опасаясь, как бы машину не угнали в другое место, он остановил усталого коня.

Тропинка была глухая, заросшая травой и засыпанная мелкими камнями. Неподальёку торчали остатки маленькой старинной крепости с развалившейся башенкой, на обломках которой густо разросся низкорослый кудрявый кустарник.

Конь насторожил уши, — на тропку из-за кустов выскочили два мальчугана. Один из них держал палку, к концу которой была привязана обыкновенная стеариновая свеча, а другой тащил большой клубок тонкой бечёвки. Столкнувшись с незнакомым человеком, оба они смутились.

— Из лагеря? — спросил Сергей. — А ну-ка, подите сюда!

— Из лагеря, — хмуро и неохотно ответил тот, который был повыше, стараясь спрятать за спину палку со свечой. — Мы гуляли.

— Вот что, — сказал Сергей. — Вы потом погуляете, а сейчас я вам дам записку. Тащите её во весь дух к начальнику лагеря и скажите: пусть через час приготовит мне машину на Севастополь.

Пока он писал, оба мальчугана переглянулись, и старший успокоенно кивнул младшему.

Догадавшись, что встретившийся человек ни в чём плохом их не подозревает, они охотно приняли записку и поспешно скрылись в кустарнике.

В горах на месте катастрофы вода разлилась широко.

Над низовым кустарником, пронзительно чирикаая носились встревоженные пичужки. Сухие травы, стебли, рыжая пухлая пена — всё это плавало и кружилось на поверхности мутной воды. — Много вынули? — спросил Сергей у бригадира Шалимова, который ругался по-татарски с маленьким сухощавым землекопом.

— А не мерил ещё, — медленно выговаривая русские слова, ответил Шалимов. — Кубометров десять, должно быть, вынули.

— Мало, — сказал Сергей. — Плохо работаешь, Шалимов.

— Грунт тяжёлый, — равнодушно ответил Шалимов, — не земля, а камень.

— Ну, камень! До камня ещё далеко. Смотри, Шалимов, беда будет. Зальёт второй участок, и оставим мы ребят без воды.

— Как можно без воды? — согласился Шалимов. — Пить нету, обед варить нету, ванну делать нету, цветы поливать нету. Как можно без воды? — разведя руками, закончил он и невозмутимо сел на камень, собираясь вступить в длинный и благодушный разговор.

— Плохо, Сергей Алексеевич! — крикнул запыхавшийся десятник Дягилев. — Вы посмотрите на выемку — так и рвёт со дна, так и рвёт! И откуда такая силища? Это не ключ, а сама подземная речка.

— Видел, — ответил Сергей. — До утра продержимся.

— Ой ли продержимся, Сергей Алексеевич?

— Надо продержаться.

Сергей приказал: как только обнажится каменная гряда, поставить бурить скважины, а землекопов перебросить рыть канаву к другой небольшой впадине, которая могла оттянуть воду и задержать перелив ещё на три-четыре часа.

— Дягилев, — сказал он напоследок, — я вернусь ночью, к рассвету. Ты отвечаешь. Да не ругайтесь вы с Шалимовым, а работайте. Как не приду, или Шалимов на тебя жалуется, или ты на Шалимова. С рабочими за прошлую десятидневку рассчитались?

— Давно уже, Сергей Алексеевич. Это ещё по старой ведомости, до вашего приезда, прежним техником подписана была.

— Вы потом покажите мне все эти ведомости, — сказал Сергей. — Я поехал.

Возле Ялты хлынул грозовой ливень. Это задержало машину на два часа: шофёр был вынужден уменьшить скорость, потому что на крутых поворотах скользкой дороги машину сильно заносило. В Севастополь они прибыли только в восемь вечера. Понадобились долгие телефонные звонки, понадобилось вмешательство секретаря райкома и даже коменданта города для того, чтобы получить пропуск и открыть уже запечатанные склады Взрывсельпрома.

И когда небольшой, но тяжёлый ящик был осторожно погружён на машину, стрелка часов уже подходила к половине одиннадцатого.

Луна сквозь сплошные чёрные тучи не обозначалась даже слабым просветом. Скрылись очертания горных вершин. Растворились в темноте рощи, сады, поля, виноградники, и только полоса широкого ровного шоссе, как бы расплавленного ослепительным светом автомобильных фар, сверкала влажной желтоватой белизной.

— Ну, давай! — подбадривающе сказал Сергей, усаживаясь рядом с шофёром. — Ночь тёмная, а дорога длинная.

Только теперь, сидя на кожаных подушках вздрагивающего автомобиля, Сергей почувствовал, что он сильно устал. Запахнув плащ и крепче надвинув фуражку, он закрыл глаза. И так в полусне, только по собачьему лаю да по кудахтанью распуганных кур угадывая проносящиеся мимо посёлки и деревушки, сидел он долго и молча.

Ра-а! Ра-а-а!... — звонко и тревожно гудел сигнал, и машину плавно покачивало на бесчисленных крутых поворотах.

Дорога забирала в горы.

И эта непроницаемая, беззвёздная тьма, и этот свежий и влажный ветер, приглушённый собачий лай, запах сена и спелого винограда напомнили Сергею что-то радостное, но очень молодое и очень далёкое.

И вот почему-то пылал костёр. Тихо звеня уздечками, тут же рядом ворочались разномастные кони.

Ра-а-а!... — звонко гудела машина, взлетая в гору всё круче и круче.

... Тёмные кони, вороные и каурые, были невидимы, но один, белогривый, маленький и смешной Пегашка, вскинув короткую морду, поднял длинные уши, насторожённо прислушиваясь к неразгаданному шуму. — Это мой конь! — сказал Сергей, поднимаясь от костра и тренькая звонкими шпорами.

— Да, — согласился начальник заставы — это худая, недобитая скотина — твой конь. Но что это шумит впереди на дороге?

— Хорошо! Посмотрим! — гневно крикнул Сергей и вскочил на Пегашку, который сразу же оказался самым лучшим конём в этой разбитой, но смелой армии.

— Плохо! — крикнул ему вдогонку умный, осторожный начальник заставы. — Это тревога, это белые.

И тотчас же погас костёр, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

— Это беженцы! — крикнул возвратившийся Сергей. — Это не белые, а просто беженцы. Их много, целый табор.

И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами.

— Это мой конь! — гордо сказал Сергей, показывая ребятишкам на маленького белогривого Пегашку. — Это очень хороший конь.

Но глупые ребятишки не понимали и молча жадно грызли чёрный хлеб.

— Это хороший конь! — гневно и нетерпеливо повторил Сергей и посмотрел на глупых ребятишек недобрыми глазами.

— Хороший конь, — слегка картавя, звонко повторила по-русски худенькая, стройная девчонка, вздрагивавшая под рваной и яркой шалью, — И конь хороший, и сам ты хороший.

Ра-а-а!... — заревела машина, и Сергей решил: «Стоп! Довольно. Теперь пора просыпаться».

Но глаза не открывались.

«Довольно!» — с тревогой подумал он, потому что хороший сон уже круто и упрямо сворачивал туда, где было темно, тревожно и опасно. Но тут его крепко качнуло, машина остановилась, и шофёр громко сказал:

— Есть! Закурим. Это Байдары.

— Байдары... — машинально повторил Сергей и открыл глаза.

Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами в кипарисовой черноте спало всё южное побережье. Кругом было тихо и спокойно. Сон прошёл.

Они закурили и быстро помчались вперёд, потому что было уже далеко за полночь.

Проснувшись, Натка увидела Альку. Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста.

— Это ты открыла или они сами повылазили? — спросил Алька, показывая на коробку.

— Это я нечаянно, — созналась Натка. — Я открыла и даже испугалась.

— Они не кусаются, — успокоил её Алька. — Они только прыгают. И ты очень испугалась?

— Очень испугалась, — к великому удовольствию Альки подтвердила Натка и потащила его в умывальную комнату.

— Алька, — спросила Натка, когда, умывшись, вышли они на террасу, — скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?

— Человек? — удивлённо переспросил Алька. — Ну, просто человек. Я да папа. — И, серьёзно поглядев на неё, он спросил: — А ты что за человек? Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала.

— Алька, — спросила Натка, — почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?

— Мамы нет, — ответил Алька.

И Натка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.

— Мамы нет, — повторил Алька, и Натке показалось, что, подозревая её в чём-то, он посмотрел на неё недоверчиво и почти враждебно.

— Алька, — быстро сказала Натка, поднимая его на руки и показывая на море, — посмотри,

какой быстрый, большой корабль.

— Это сторожевое судно, — ответил Алька. — Я его видел ещё вчера.

— Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное? — Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает.

В этот день готовились к первому лагерному костру, и Натка повела Альку к октябрятам.

На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил лёгонькую и ловкую башкирку Эмине вспрыгивать на плечи с развёрнутым красным флагом.

— Ты не так прыгаешь, Эмка, — терпеливо повторял Василюк. — Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь — я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову. Эх, ты! Ну, и как мне с тобой сговориться? — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает его. — Ну, ладно, беги. Потом Юлай придёт, он уж тебе по-вашему объяснит.

Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.

— Пионер? — смело спросила она, указывая на его красный галстук.

— Пионер, — ответил Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником. — Это белый, — хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть её Алька. — Это белый. Это царь.

— Это красный, — ещё хитрее улыбнувшись, ответила Эмине. — Это Будённый.

— Это белый, — настойчиво повторил Алька, указывая на саблю. — Вот сабля.

— Это красный, — твёрдо повторила Эмине, указывая на серую папаху. — Вот звезда!

И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они вприпрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрят.

Проводив Альку к октябрятам, Натка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Иоську. В одной руке Иоська тащил что-то длинное, свёрнутое в трубочку, а в другой — маленький, крепко завязанный узелок.

— Ты откуда? Куда?

— В клуб бегал, — быстро и неохотно ответил Иоська, подпрыгивая и увёрливо пряча узелок за спину. —

В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках.

— Иоська, — удивилась Натка, — почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу?

— Памятка потом. Мы сегодня с купанья шли — глядим, четыре танка ползут. Интересно! Я скорей в библиотеку. Давай, думаю, сегодня, пока интересно, будем читать о танках.

— Ну ладно, Иоська. Это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь?

— Это? Это орехи, — с отчаянием заговорил Иоська, ещё нетерпеливей подпрыгивая и отскакивая от Натки. — Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал семь вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает...

Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял?

Но тут увёртливый Иоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты.

Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты — на спортивную площадку, танцоры — в клуб. И, пользуясь этой весёлой суматохой, никем не замеченные, двое ребят скрылись потихоньку из лагеря.

Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бечевы и огарок стеариновой свечи. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой чёрной дыре у подножия дряхлой башенки. Ярко жгло полуденное солнце, и от

этого пахнувшее сыростью отверстие казалось ещё более чёрным и загадочным.

— А что, если у нас бечевы не хватит, тогда как? — спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки. — А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, Толька, где-то читал такое, что вот идёшь... идёшь подземным ходом, вдруг — бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки... змеи...

— Какие ещё змеи? — переспросил Толька, поглядывая на сырую чёрную дыру. — И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумываешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи.

— А что, Толька, — обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик, — а что, если мы спустимся, вдруг обвалится башня и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах? Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга.

— И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? — совсем уже унылым голосом спросил Толька и опять покосился на чёрную дыру.

— Лезем! — оборвал его Владик. — Мало ли что я говорю! Это я тебя, дурака, дразню.

Он зажёл свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. Толька, держа в руках клубок с разматывающейся бечевой, полез вслед за ним.

Потихоньку ощупывая каждый камешек, они прошли метров пять. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись ещё раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было.

— Тоже, крепость! — рассердился Толька. — А всё, Владик, ты. Полезем да полезем. Ну, вот тебе и полезли. Идём лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил.

Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море — огромное и пустынное.

Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча.

— Толька! — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумывал что-нибудь интересное, глаза его заблестели. — А что, Толька, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света и разбили бы они Красную Армию и поставили бы они всё по-старому?... Мы бы с тобой тогда как?

— Ещё что! — равнодушно ответил Толька, который уже привык к странным фантазиям своего товарища.

— И разбили бы они Красную Армию, — упрямо и дерзко продолжал Владик, — перевешали бы коммунистов, перекидали б в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров, тогда бы мы с тобой как?

— Ещё что! — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашёл эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. — Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас советская... На весь мир. У нас у самих танки. Глупый ты, дурак. И сам ты всё знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает...

Толька покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика.

— Ну и пусть глупый! Пусть знаю, — спокойнее продолжал Владик. — Ну, а если бы? Тогда бы мы с тобой как?

— Тогда бы и придумали, — вздохнул Толька.

— Что там придумывать? — быстро заговорил Владик. — Ушли бы мы с тобой в горы, в леса. Собрали бы отряд, и всю жизнь, до самой смерти, нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда. Никогда! — повторил он, прищуривая блестящие серые глаза.

Это становилось интересным. Толька приподнялся на локтях и повернулся к Владиду.

— Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах? — спросил он, подвигаясь поближе.

— Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказами. Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они всё равно не перевешают. Кто же тогда работать будет — сами буржуи, что ли? Потом во время восстания бросились бы все мы к городу, грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, к губернаторам. Смелее, товарищи! Пусть грохает.

— Что-то уж очень много грохает! — усомнился Толька. — Так, пожалуй, и все дома закачаются.

— Пусть качаются, — ответил Владик. — Так им и надо. — Тише, Владик! — зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища. — Смотри, Владик, кто это?

Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек. В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в чёрной дыре, из которой ещё только совсем недавно выбрались ребяташки.

Не позже чем через пять-шесть минут он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах.

Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку.

Здесь-то и встретили они возвращающегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря.

— Ты знаешь, где мой папа? — спросил Алька, перед тем как лечь спать. — У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы.

Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил:

— А у тебя, Натка, случалась когда-нибудь беда?

— Нет, не случалась, — не совсем уверенно ответила Натка. — А у тебя, Алька?

— У меня? — Алька запнулся. — А у меня, Натка, очень, очень большая случилась. Только я тебе про неё не сейчас расскажу.

«У него умерла мать», — почему-то подумала Натка, и, чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которую обманул хитрый заяц.

— Спи, Алька, — сказала Натка, закончив рассказ. — Уже поздно.

Но Альке что-то не спалось.

— Ну, расскажи мне сам что-нибудь, — попросила Натка. — Расскажи какую-нибудь историю.

— Я не знаю истории, — подумав, ответил Алька. — Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая... не про кошек и не про зайцев. Это военная, смелая сказка.

— Расскажи мне, Алька, смелую, военную сказку, — попросила Натка, и, потушив свет, она под села к нему поближе.

Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твёрдое слово и про неразгаданную Военную Тайну.

Потом он уснул, но Натка долго ещё ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку.

Было уже очень поздно, когда далёкий, но сильный гул ворвался в открытое настёжь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие, тяжёлые батареи.

Натка вздрогнула, но тут же вспомнила, что ещё с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются — это так надо.

Она быстро прошла в палату.

Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Натка пошла к

себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но ещё сонными глазами.

— Что это? — спросил он тревожным полусёпотом.

— Спи, Алька, спи! — быстро ответила Натка, укладывая его в постель. — Это ничего... Это твой папа поправляет беду.

— А, папа... — уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.

Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой: петь так петь, играть так играть. Даже рёву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы.

К полудню Натка увела их на поляну, к сосновой роще, потому что звеньева октябрят Роза Ковалёва была в тот день помощником дежурного по лагерю.

Едва только Натка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг неё весёлой босоногой звёздочкой.

— Расскажи, Натка!

— Почитай, Натка!

— Покажи картинки!

— Спой, Натка! — на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего подсовывали прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.

— Расскажи, Натка, интересное, — попросил обиженно октябрёнок Карасиков. — А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?

— Расскажи, Натка, сказку, — попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.

— Сказку? — задумалась Натка. — Я что-то не знаю сказок. Или нет..... я расскажу вам Алькину сказку. Можно? — спросила она у насторожившегося Альки.

— Можно, — позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.

— Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте!

В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш. В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на тех широких полях, на зелёных лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишнёвых кустов стоял домишко, в котором жил Мальчиш, по прозвищу Кибальчиш, да отец Мальчиша, да старший брат Мальчиша, а матери у них не было.

Отец работает — сено косит. Брат работает — сено возит. Да и сам Мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется.

Гоп!... Гоп!... Хорошо! Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться, не надо от снарядов в погреба прятаться, не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай — хорошая жизнь!

Вот однажды — дело к вечеру — вышел Мальчиш-Кибальчиш на крыльцо. Смотрит он — небо ясное, ветер тёплый, солнце к ночи за Чёрные Горы садится.

И всё бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится Мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится Мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не мёдом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец усталый пришёл.

— Что ты! — говорит он Мальчишу. — Это дальние грозы гремят за Чёрными Горами. Это

пастухи дымят кострами за Синею Рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, Мальчиш, и спи спокойно.

Ушёл Мальчиш. Лёг спать. Но не спится ему — ну, никак не засыпается.

Вдруг слышит он на улице топот, у окон — стук. Глянул Мальчиш-Кибальчиш, и видит он: стоит у окна всадник. Конь — вороной, сабля — светлая, папаха — серая, а звезда — красная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Пришла беда откуда не ждали. Напал на нас из-за Чёрных Гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули. Опять уже рвутся снаряды. Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далёкую Красную Армию.

Так сказал эти тревожные слова краснозвёздный всадник и умчался прочь. А отец Мальчиша подошёл к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронташ.

— Что же, — говорит старшему сыну, — я рожь густо сеял — видно, убирать тебе много придётся. Что же, — говорит Мальчишу, — я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе Мальчиш, придётся.

Так сказал он, крепко поцеловал Мальчиша и ушёл. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, оглядывая притихших ребят.

— Так... так, Натка, — тихо ответил Алька и положил свою руку на её загорелое плечо.

— Ну вот... День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет... не видать ещё Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать. Лёг он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка — стук. Выглянул Мальчиш: стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая, тёмная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная.

— Эй, вставайте! — крикнул всадник. — Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!

Встал тогда старший брат, сказал Мальчишу:

— Прощай, Мальчиш... Остаёшься ты один... Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах... Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся.

День проходит, два проходит. Сидит Мальчиш у трубы на крыше, и видит Мальчиш, что скачет издали незнакомый всадник.

Доскакал всадник до Мальчиша, спрыгнул с коня и говорит:

— Дай мне, хороший Мальчиш, воды напиться. Я три дня не пил, три ночи не спал, три коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы. Забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы все боевые знамёна. Мчатся и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, Мальчиш, до завтрашней ночи продержаться.

Слез Мальчиш с крыши, принёс напиться. Напился гонец и поскакал дальше.

Вот приходит вечер, и лёг Мальчиш спать. Но не спится Мальчишу — ну, какой тут сон?

Вдруг слышит он на улице шаги, у окошка — шорох. Глянул Мальчиш и видит: стоит у окна все тот же человек. Тот да не тот: и коня нет — пропал конь, и сабли нет — сломалась сабля, и папахы нет — слетела папаха, да и сам-то стоит — шатается.

— Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.

Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота — некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли — никого не осталось.

Только видит Мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во сто лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на завалинку, опустил голову и заплакал...

— Так я говорю, Алька? — спросила Натка, чтобы перевести дух, и оглянулась, не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто его знает когда, подползло бесшумно всё пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эглине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьёзная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая.

— Так, Натка, так... Ещё лучше, чем так, — ответил Алька, подвигаясь к ней ещё ближе.

— Ну, вот... Сел на завалинку старый дед, опустил голову и заплакал.

Больно тогда Мальчишу стало. Выскочил тогда Мальчиш-Кибальчиш на улицу и громко-громко крикнул:

— Эй же, вы, мальчиши, мальчиши-малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтобы буржуины пришли и забрали нас в своё проклятое буржуинство?

Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса! Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет.

Все хотят идти на подмогу. Лишь один Мальчиш-Плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот Плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу.

Бьются мальчиши от тёмной ночи до светлой зари. Лишь один Плохиш не бьётся, а всё ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит Плохиш, что лежит за горкой громада ящичков, а спрятаны в тех ящичках чёрные бомбы, белые снаряды да жёлтые патроны. «Эге, — подумал Плохиш, — вот это мне инужно». А в это время спрашивает Главный Буржуин у своих буржуинов:

— Ну что, буржуины, добились вы победы?

— Нет, Главный Буржуин, — отвечают буржуины, — мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа, да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш, и никак мы с ним всё ещё не справимся.

Очень удивился и рассердился тогда Главный Буржуин, и закричал он грозным голосом:

— Может ли быть, чтобы не справились с Мальчишем? Ах вы, негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы.

Вот сидят буржуины и думают: что же это такое им сделать? Вдруг видят: вылезает из-за кустов Мальчиш-Плохиш и прямо к ним.

— Радуйтесь! — кричит он им. — Это всё я, Плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сена наташил, и зажёг я все ящички с чёрными бомбами, с белыми снарядами да с жёлтыми патронами. То-то сейчас грохнет!

Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья.

Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется.

Вдруг как взорвались зажжённые ящички! И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули.

— Измена! — крикнул Мальчиш-Кибальчиш.

— Измена! — крикнули все его верные мальчиши. Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и скрутила и схватила она Мальчиша-Кибальчиша.

Заковали Мальчиша в тяжёлые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же с пленным Мальчишем прикажет теперь Главный Буржуин делать? Долго думал Главный Буржуин, а потом придумал и сказал:

— Мы погубим этого Мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их Военную Тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него:

— Отчего, Мальчиш, бились с Красной Армией Сорок Царей да Сорок Королей, бились, бились, да только сами разбились?

— Отчего, Мальчиш, и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, а все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь?

— Отчего, Мальчиш, проклятый Кибальчиш, и в моём Высоком Буржуинстве, и в другом — Равнинном Королевстве, и в третьем — Снежном Царстве, и в четвёртом — Знойном Государстве в тот же день в раннюю весну и в тот же день в позднюю осень на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамёна несут, те же речи говорят, то же думают и то же делают?

Вы спросите, буржуины:

— Нет ли, Мальчиш, у Красной Армии военного секрета?

И пусть он расскажет секрет.

— Нет ли у наших рабочих чужой помощи? И пусть он расскажет, откуда помощь.

— Нет ли, Мальчиш, тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумываются?

Ушли буржуины, да скоро назад вернулись:

— Нет, Главный Буржуин, не открыл нам Мальчиш-Кибальчиш Военной Тайны. Рассмеялся он нам в лицо.

— Есть, — говорит он, — и могучий секрет у крепкой Красной Армии. И когда б вы ни напали не будет вам победы.

— Есть, — говорит, — и неисчислимая помощь, и сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, всё равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в тёмную ночь.

— Есть, — говорит, — и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы не искали, всё равно не найдёте. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу, а самим вам, проклятым, и ввек не догадаться.

Нахмурился тогда Главный Буржуин и говорит:

— Сделайте же, буржуины, этому скрытному Мальчишу-Кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него Военную Тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной Тайны.

Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро.

Идут и головами покачивают.

— Нет, — говорят они, — начальник наш Главный Буржуин. Бледный стоял он, Мальчиш, но гордый, и не сказал он нам Военной Тайны, потому что такое уж у него твёрдое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и, ты поверишь ли, о Главный Буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминуемая погибель?...

— Это не по тайным... это Красная Армия скачет! — восторженно крикнул не вытерпевший октябрёнок Карасиков.

И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девчонка, которая ещё недавно, подскакивая на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше.

Тут Натка оборвала рассказ, потому что издали раздался сигнал к обеду.

— Досказывай, — повелительно произнёс Алька, сердито заглядывая ей в лицо.

— Досказывай, — убедительно произнёс раскрасневшийся Иоська. — Мы за это быстро построимся.

Натка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов — белокурых, тёмных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на неё смотрели глаза — большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку, узкие, чёрные как у Эмине, и много-много других глаз — обыкновенно весёлых и озорных, а сейчас задумчивых и серьёзных.

— Хорошо, ребята, я доскажу.

... И стало нам страшно, Главный Буржуин, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминуемая гибель?

— Что это за страна? — воскликнул тогда удивлённый Главный Буржуин. — Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат своё твёрдое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого Мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамёна, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и — машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не лёгкий бой, а тяжёлая битва.

— И погиб Мальчиш-Кибальчиш... — произнесла Натка.

При этих неожиданных словах лицо у октябрёнка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой.

Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Иоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочались, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно.

— Но... видели ли вы, ребята, бурю? — громко спросила Натка, оглядывая приумолкших ребят. — Вот так же, как громы, загремели и боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды, и так же, как тучи, пронеслись красные знамёна. Это так наступала Красная Армия.

А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались в бурливые, пенные потоки, так же при первом грохоте войны забурлили в Горном Буржуинстве восстания, и откликнулись тысячи гневных голосов и из Равнинного Королевства, и из Снежного Царства, и из Знойного Государства.

И в страхе бежал разбитый Главный Буржуин, громко проклиная эту страну с её удивительным народом, с её непобедимой армией и с её неразгаданной Военной Тайной.

А Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зелёном бугре у Синеи Реки. И поставили над могилой большой красный флаг.

Плывут пароходы — привет Мальчишу!

Пролетают лётчики — привет Мальчишу!

Пробегают паровозы — привет Мальчишу!

А пройдут пионеры — салют Мальчишу!

Вот вам, ребята, и вся сказка.

Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали.

— Нет, вы подумайте! Ну и народ! Головы им рвать надо... Где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого чёрта Шалимова сейчас же сюда позвали.

— Зачем чёрта? Зачем ругаешься? — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова. — Ты дело говори, а то кричит-пищит, как петух под лисицей. Ну, на что тебе нужен Шалимов?

— Ночью замок сорвали, — плачущим голосом объяснил Дягилев. — Начисто. Вместе с пробоем. Ружьё украли, двустволку. Шкатулка запертая стояла. В ней шестьдесят рублей казённых денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич? — недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.

И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он погрозил кулаком.

— Зачем кулаком махаешь? — всё так же невозмутимо переспросил Шалимов. — Воры есть русские, воры есть татары. Всякие есть воры. Зачем, пустой человек, зря кулаком махать?

Шалимов сердито вздёрнул брови и укоризненно добавил:

— Вон татары землю копают, а вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?

И точно, подошёл вдрызг пьяный дядёк и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.

— Спать, спать иди! — ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев. — И что за народ! Что за народ! — скороговоркой докончил он и беспомощно махнул рукой.

Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепёжные стойки. Он обернулся, отыскивая того старика, который жаловался, что его обсчитали, но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошёл вниз, к дощатому барaku, где помещалась десятниковская конторка.

Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.

— Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я, право, не согласен. Пусть Шалимов остаётся. Мотаешься, мотаешься... Всюду ругань, всем не так. А тут ещё вон что!

Ни дягилевской двустволки, ни шестидесяти рублей Сергею не было жалко, но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы. Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака.

По пути на первый участок Сергей опять увидел всё того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился спозаранку. Но пьяный тут же свалился под кусты и заснул.

На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорчённо рассказывал, что сто восемьдесят метров жёлоба уже проложено и что было бы больше, да, опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору.

Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих.

Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было ещё повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И всё-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая. Но всё что-то не ладилось. Например, совсем недавно, перед его приездом, пропало сорок лопат. И вовсе уж бестолково вынули двести кубометров земли не оттуда, откуда было надо.

Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одёрнул помятый френч и пошёл к лагерю.

За обедом звеньевой Иоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке.

Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая мороженое, подошёл дежурный по столу пионер Башкатов, а при нём нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего. Чтобы замаять

разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Иоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно.

— Хулиган! — рассердился Иоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику.

Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник.

Поднялся шум, чуть не драка, а кончилось тем, что подошёл дежурный по лагерю и Владика с позором выставили из-за стола. Обозлённый Владик показал Иоське кулак и тотчас же ушёл прочь.

Сразу же после обеда Натка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых — готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра.

Во время перерыва, Алёша Николаев спросил:

— Что это, Шегалова, ребята сегодня всё время гудят, спорят... Сказка, сказка... Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?

— Сказку, Алёша, рассказывала. Хорошая сказка.

— Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение? Взяла бы и рассказала.

— Рассказала уже, — рассмеявшись, ответила Натка. — Ну, говорят шёл, ну, увидел, что у рельсы гайка развинтилась, ну, побежал и сказал сторожу. Это что! Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай... «Заковали Мальчиша в тяжёлые цепи. Посадили Мальчиша в каменную башню. И помчались спрашивать: что же теперь Главный Буржуин прикажет с пленным Мальчишем делать?»

— Чёрт тебя знает, что ты городишь, Натка! — перебил её Алёша. — Какой Главный Буржуин? Кого заковали?

— Мальчиша заковали! — настойчиво повторила Натка. И тотчас же успокоила: — А про крушение я ещё раз обязательно расскажу. Сама знаю... транспорт, грузопотоки... Первый год, что ли? — И, неожиданно улыбнувшись, она повторила: — «Плывут пароходы — привет Мальчишу! Бегут паровозы — привет Мальчишу!» Это тебе что! Не транспорт, что ли?

А пройдут, Алёша, пионеры — салют Мальчишу! Эх, ты... гайка! — рассмеявшись, закончила Натка, и, схватив Алёшу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат.

После совещания Натка вспомнила, что ещё не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и свёрток глянцевого бумаги. Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Натке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо.

Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Натка охнула и увидела что это колючая проволока.

— Я вас, бездельники! Я вот вас хворостиной! — раздался грозный голос.

Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Наткой оказался распоясанный, босоногий Гейка.

Увидев нагружённую поклажей Натку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил:

— Сторож в баню пошёл, а ребяташки в сад лезят. Груши ещё вовсе зелёные, твёрдые — кабан не раскусит. Всё равно лезут. Вечор двоих ваших поймал. «Стыдно, — говорю. — Вас голоштаных, и пирожными кормят и мороженым. Всякие вам повара, доктора, а вы вон что». По-настоящему

надо бы их крапивой, да вижу — скраснели. Такие негодники! Отобрал я у них зелёные груши, дал по спелому яблоку. Всё одно стоят и молчат. «Ладно, — говорю им, — бегите. Эх вы... босоногая диктатура!»

Гейка улыбнулся. Он показал Натке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и, всё ещё продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами.

Натка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше чем в десяти шагах, лежали Сергей и Алька.

Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Натка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.

— Папка, — предложил Алька, — знаешь, давай споём нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поём да не поём.

— Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе сто раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло.

— А ты бы без крику, — посоветовал Алька. — Ну, давай начинай, и я тоже.

Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались всё крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках.

И странно: теперь, когда на пустой полянке смешной октябрёнок Алька, подёргивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Натке, что всё хорошо и что работать ей весело.

Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвётся с постелей весь её неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись и в ожидании сигнала ёрзают, сорванцы, по койкам и, конечно, мешают другим спать.

«А много нашего советского народа вырастает», — прислушиваясь к песне, подумала Натка. Выдёргивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.

— Папка, — заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька, — отчего это, когда мы поём «Заводы, вставайте» и «шеренги смыкайте», то всё хорошо и хорошо. А вот как допоём до «товарищей в тюрьмах, в застенках холодных», то ты всегда лежишь и глаза жмуришь.

— Отчего же всегда? — ответил Сергей. — Солнце в глаза светит, оттого и жмурю.

— А когда луна? — помолчав немного, переспросил Алька.

— А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!

— А когда ни солнце, ни звёзды, ни луна? — громко и уже настойчиво повторил Алька. — Я и сам знаю почему.

Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют почему-то такому, чего удивлённая Натка так и не смогла увидеть. Натка подвинулась. Из-под её ног с шумом покатались камешки. Алька обернулся, и теперь Натке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.

— Это и есть она самая! — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутьях девушку.

— Наташа? — догадался Сергей.

— Я и есть самая, — подтвердила Натка.

— Ну, что Алька?

— Бегает, балуется. Такой... — Натка запнулась, — такой малыш. Не дёргай, Алька, за ленты. Мы из них к празднику Эмине костюм сделаем. Вы ещё с нею не поссорились?

— Нет, не поссорились, — ответил Алька. — Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берёт, а я не даю. Он говорит: дай! А я — не дам. Он меня — раз. А я его — раз, раз тоже. Только

мы уже опять два раза помирились.

И, обернувшись к отцу, Алька объяснил:

— Эмине — это маленькая девчонка такая, весёлая... башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь: муу! муу! Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге да по-башкирскому дразнится: тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр... Да быстро так, а сама всё скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда её за пятки схватишь: орёт на всю палату.

Издали загудел сигнальный колокол. Натка заторопилась:

— Алька ко мне? Или вы его с собой возьмёте?

— Нет, не с собою, — ответил, поднимаясь, Сергей. — Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту. Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся.

— Обязательно послезавтра, — приказал Алька. — Вечером будет костёр, музыка, а потом... Нет, лучше не скажу. Придётся, тогда сам увидишь.

Они убежали.

Сергей постоял, подошёл к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого влажного камня. Потом он свистнул, одёрнул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика татарина, который жаловался, что его обсчитали.

Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень.

На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Толька подмигнул Владике, чтобы Владик подождал.

Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди. Все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда.

Когда Толька наконец вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик.

Толька носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Натка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каёмку по краям пятиконечной звезды.

Едва Толька уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дожидаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну.

С досады и чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Натка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владике целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке.

В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно: ему нужно было казаться послушным.

Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом, через кустарник, через ручейки и овражки он помчался вниз, чтобы поскорей вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать с Толькой к развалинам старых башен.

Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Натка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке.

«Вот ещё напасть!» — подумал огорчённый Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесёнку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владике пришлось уносить ноги подальше.

На поляне, под кипарисами, злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябрёнка

Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана, пытаюсь спихнуть его под откос, в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и октябрёнку Карасикову надо дать щелчка: Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щётку.

Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжёлый чурбан.

Такая смелая просьба Владiku понравилась.

Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек.

— Ты хороший человек, Алька! — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик.

Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владiku в глаза.

— Ты хороший человек, — внезапно придумал Владик. — Жалко, что ты мал ещё, а то я взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну.

— И я бы тоже залез, — обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе.

— Или нет, — охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик. — Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а Толька сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что — нажал ключ, и сразу искры, искры, тревога!., тревога!... Вставайте, товарищи!... Тогда разом повсюду загудят гудки — паровозы, пароходы, сверкнут прожектора. Лётчики — к самолётам. Кавалеристы — к коням. Пехотинцы — в поход. И рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойней, товарищи! Нам не страшно!

— Я бы тоже побежал! — уныло завопил оскорблённый Карасиков. — Раз все бегут — значит, я тоже.

Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо:

— А потом после боя вдруг вспомнил бы: а где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мёртвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков! Ах, вы умеете только языком болтать да ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щётку запихал! Да раз ему за такие дела щелчка! Два щелчка! То-то, карасятина!...

Не успел отщёлканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез.

Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку.

— Ничего! — успокоил Алька. — Он тебе только два раза. А про всё другое — это он нарочно. Там Красная Армия и без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых, и все стоят и не шелохнутся.

— И я бы тоже не шелохнулся, — не уступал Карасиков.

— Нет, ты бы шелохнулся! — рассердился Алька. — Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался... даже Натка заругалась?

— И вовсе не ворочался. Это оттого, что у меня шнурок оборвался и штаны вниз сползли, — обидчиво возразил Карасиков.

— А разве же у часовых сползают? — снисходительно усмехнулся Алька. — Эх ты, хвастунишка! Из-за кустов выскочил Иоська.

— Где вы запропалились? — размахивая руками, затараторил он. — Бегите скорее! В море катер! Сейчас встречать... Гости едут. Матросы!... Ворошиловцы!...

Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море

заревела сирена причаливающего катера.

Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря — ворошиловцы.

В длинных чёрных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной.

Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему:

— Мишка, здорово!

Но тот только повёл глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но всё это потом, а сейчас он пионер, матрос-ворошиловец, в строю.

После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело.

Барабанщики подтягивали барабаны, горнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шёлковые флажки, неумело, но задорно кричала:

— Привет старой гвардий от юнай смена!

На крыльце, рассевшись, как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а пряткий Иоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было ещё успеть выкрасить.

— Так, значит, завтра? — уговаривался Толька с Владиком.

— Сказано, завтра.

— И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда — он сюда. Он сюда, а я туда. Как только приведут, скомандуют «разойдись», я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке, возле беседки, встретимся.

— А если там кто-нибудь уже есть?

— Тогда шарах в кусты. Сиди да посвистывай.

— Я-то свистну! — усмехнулся Владик, и, щёлкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Натка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем. Наступил вечер праздника.

При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешней, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю.

— Ты не видала папу? — уже в третий раз спрашивал огорчённый Алька у Натки.

— Нет, Алька, ещё не видала. А ну, ребята, одёрнуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползать будут?

Пока ребята одёргивали и оправляли друг друга, она успокоила Альку:

— Ты не печалься. Раз он сказал, что придёт, — значит, придёт. Наверно, на работе немного задержался.

На другом конце линейки разгневанный звеньева Иоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.

— Сам танк заставлял красить, а теперь сам ругается, — хмуро оправдывался Баранкин.

— Так разве же я тебя галстуком заставлял красить? — возмущался Иоська. — И тут пятно и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин! Ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта и кастелянша ушла. Ну, что мне теперь делать, Баранкин?

— Раньше я пошёл галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу — опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку. Ну, вот и брызнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются? Я, когда человек работает, лучше его за сто шагов обойду, а толкать никак не буду.

— Значит, у беседки, — ещё раз шёпотом напомнил Толька. — Спички взял?

— Взял... Помалкивай, — тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.

Неполный спичечный коробок брякнул, и звеньевой Иоська разом обернулся:

— Ты зачем спички взял? Нехорошо! Брось, Владик.

— А тебе что? — испуганно прошипел Владик. — Какие спички?

— Звено, Владик, ударное, а у одного галстук в краске, у другого спички спрятаны... Брось лучше. Стыдно! Да чего ты грозишься! А то не посмотрю, что товарищ, и скажу жожатой.

— Ну, говори... Провокатор!

Иоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекопилось, губы дёрнулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу, от главного штаба, взвилась сигнальная ракета — всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда: «Внимание!»

Если бы это был не Иоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема.

Но Иоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, стал в строй.

Всё это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил.

Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике, слава о котором не умрёт никогда, двинулись вниз.

Внизу, недалеко от моря, с трёх сторон окаймлённая крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка.

На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зелёных лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костёр, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды.

Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались каждый куда хотел.

Уже загремела музыка. Подплывала на моторке ялтинская делегация. Подошли лётчики из военного санатория, и, неторопливо покачиваясь на сёдлах, подъехали старики татары из соседнего колхоза.

В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Картузинов.

— Ну что?... Здорово? — не останавливаясь, спросил он. — Приходи завтра на волейбол. — И уже издали он крикнул: — Забыл... Там тебе письмо... спешное. На столе в дежурке лежит.

«Что за спешное? — с неудовольствием подумала Натка. — И от кого бы? От Верки только что было. Мать спешного посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда. Успею!» — подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущённых лётчиков.

Раскрасневшиеся лётчики неумело маневрировали и так и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и весёлый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припёртыми к стенке беседки. Тут их расхватили, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно.

Натка постояла, постояла и снова вспомнила о письме.

«А что, ведь успею ещё и сейчас, — подумала она. — Добежать долго ли?»

Она одёрнула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке.

И всё-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьёзное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго и отец обещает ехать всей семьёй. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя. И что отец ходит весёлый, а пятилетний братишка Ванька ещё веселей и уже разбил Наткину дарёную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили, жили, а там ещё кто знает? Сторона там чужая, и народ, говорят, не русский.

Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла: кто переводит? Куда переводят? Какая

сторона и какой народ?

Поняла она только одно: что мать просит её приехать пораньше и в Москве, у дяди, никак не задерживаться.

Натка задумалась. Вдруг волны быстрой, весёлой музыки, потом многоголосая знакомая песня рванулись через окно в пустую дежурку.

Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней.

Это проходили парадом физкультурники.

— Ты что пропала? Я тебя искал, — сердито спросил откуда-то выползший Алька. — Идём скорее, а то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно.

Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев.

— Туда нельзя, — остановил её озабоченный Алёша Николаев. — Это места для шефов. И чего только опаздывают!

— Ну, что шефы! Придут — мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алёша.

— Пусти одного, потом другой, потом третий... — ворчливо начал было Алёша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел лётчик.

Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через две-три секунды высоко над площадкой вспыхнул огонёк, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель самолёта.

Тогда с земли, с лужаек, из-за кустов, из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что лётчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать.

Но потом он выпрямился и слово за словом нашёл такие простые, горячие слова, что все примолкли, притихли, а заслушавшийся Иоська, который и сам давно уже мечтал быть лётчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далёкому синему небу, а в глубокую канаву с колючками.

Потом выскочили девчонки — танцорки и физкультурницы, и тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал лёгкий говорок, потом громче, громче, и наконец зашумело, загудело:

— Идут... Идут... Идут...

Из глубины аллеи показалось человек десять уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК в Ай-Су.

Натка поспешно встала и взяла Альку на руки.

Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошёл своим чередом, Натка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.

В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Натка искоса разглядывала прибывших шефов. И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо.

«Кто это? — растерялась Натка. — Лицо смуглое, чернобородый. Седина, очки... Да кто же это?» Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись.

Засмеялся и чернобородый: карр! карр! И тогда обрадованная Натка сразу поняла, что это, уж конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шегалова и с которым так подружилась Натка, когда два года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве.

Натка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и заглянула ему в лицо.

Он узнал её сразу и засмеялся-закаркал так громко, что удивлённый Алька соскользнул с Наткиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека.

— Кто это у тебя? — шутливо спросил Гитаевич. — Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?

— Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован, — пошутила Натка.

Гитаевич угловато двинулся. Он протёр очки и, как показалось Натке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка.

— Я побегу... мне пора... Я сюда вернусь, — заторопился Алька и с обидой добавил: — Эх, папка, папка, так и не пришёл.

— Серёжи Ганина? — глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич.

— Да, Ганина. А вы его разве знаете?

— Я-то его знаю, — ответил Гитаевич, — очень давно. Ещё по армии знаю.

— Значит, вы их всех хорошо знаете? — помолчав немного, спросила Натка. — А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?

Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними — девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись.

Музыканты ударили «Марш Будённого». Двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по четыре, на колёсных и игрушечных конях выехал «Первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции».

Там был и Алька.

Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню будёновского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.

— Жулики! — обиженно объяснял кому-то сидевший неподалёку Карасиков. — Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечёвках тянут. Я уже всё узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал.

Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры, и выступали отрядные кружки.

Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Натке, отвечая на её вопросы:

— У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита...

— Марица Маргулис! — почти вскрикнула поражённая Натка.

Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник «Первого октябрятского эскадрона имени мировой революции» — счастливый и смеющийся Алька.

В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревёт во весь голос, а у Феды Кукушкина схватило живот и, вероятно, этот обжора Федыка объелся под шумок незрелым виноградом.

Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку.

Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы, а перепуганный Федыка громко сознался, что съел три яблока, две груши, а сколько винограду, не знает, потому что было темно.

— Танком её по носу задело, — сердито объяснял Натке звеньевой Василюк. — Я ей говорю: не суйся. Как нет, растяпа, не послушалась. Иоськина башня повернулась — и бац ей орудием прямо по носу!

Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама по-над берегом пошла к Альке.

Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны.

На небе ни луны, ни звёзд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо, мерцал быстрый летящий огонёк — должно быть, пограничного костра. И вдруг Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжёлая страна Румыния, где погибла Марица...

Кто-то тронул её за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея.

— Алька где? Я спрашивал, мне сказали, что он с вами, Наташа.

— Он со мной, — обрадовалась Натка. — Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдёмте... Он вас ждал, ждал...

— Опоздал я, Наташа, — виновато ответил Сергей. — Там у меня всякая чертовщина творится.

Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет и всё смолкло.

— Стойте! — шепнула Натка. — Сейчас зажгут костёр.

В тёмной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули пять дымных факельных огней. Горн зазвучал ещё раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки.

Долго огонь бежал и метался внутри подожжённого костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром.

Тяжёлые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, щурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь.

Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а покрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня.

Было уже поздно, когда кое-как, вразброд, вернулся Наткин отряд к дому.

Не успела ещё Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего десять минут назад Владик Дашевский привёл исцарапанного, разбитого Тольку Шестакова и у Тольки, кажется, вывихнута рука.

Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеёнчатом диване, с лицом, заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толька. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет.

— Как же это? Где это вы? — подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка.

Толька молчал. Вмешалась дежурная:

— Говорит, что когда заканчивался костёр и стали ребята разбегаться, то, чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой... А там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся.

Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь. Тольку повезли в свой же лагерный лазарет, а Натка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику: строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи.

Перед тем как идти, Натка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он ещё не спал.

— Владик, — спросила Натка, — расскажи, пожалуйста, где... как это всё случилось?

Владик не отвечал.

— Дашевский, — строго повторила Натка, — ты не ври. Я же видела, что ты не спишь. Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря.

С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись, сухо и коротко он слово в слово повторил то, что уже говорил дежурной сестре Толька.

— Чёрт вас ночью по оврагам носит, — не сдержавшись, выругалась Натка и в потёмках устало побрела к начальнику.

... А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего. Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошёл по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошёл на второй. Там ещё не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем ещё не начинали.

Он спросил: «Где Дягилев?» Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошёл к плотине, на третий.

Поднимаясь к озеру, ещё издали Сергей увидел впереди на тропке того самого старика татарина, который и был ему нужен.

В это время верхом на тощей коняге Сергея догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошёл рядом.

— Плохо дело, начальник! — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо. — Люди работают плохо.

— Сам вижу, что плохо. Водослив ещё не кончили, крепить не начали. Хорошего мало!

— Грунт тяжёлый, — ещё глубже вздохнул Шалимов, — камень, щебёнка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуются. Вчера на работу трое не вышли. Сегодня опять некоторые говорят: если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну, что мне, начальник, делать? — И Шалимов огорчённо развёл руками.

— Почему это только тебе, а ни мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно что-то, Шалимов.

— Ты человек новый, к тебе ещё не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку? Чурбан человек. А с меня все спрашивают: ты старший, ты и говори.

— Ладно, — решил Сергей. — К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад. Да посматривай сам получше, — быстро и наугад соврал Сергей, — а то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили.

— Где, начальник? — забеспокоился Шалимов. — На водосливе или у насыпи?

— Не спросил. Некогда было. Ты там старший — тебе на месте видней. До свиданья, Шалимов. Значит, сразу после работы.

«Что-то неладно», — подумал Сергей и увидел, что старика татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошёл до поворота, но и за поворотом старика не было тоже.

Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера.

Слева, у плотины, стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжёлое, ещё сырое бревно.

— Дягилев где? — спросил Сергей у встретившегося парня.

— А вон он! — И парень показал топором куда-то на горку.

Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел.

— Да вон он! — повторил парень. — Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает.

— С каким братом?

— Ну, с каким? Со своим... с родным...

«Вон оно что! — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так не ко времени напился. — То-то Дягилев тогда растерялся».

Увидав Сергея, дягилевский брат неловко поздоровался и пошёл прочь.

— Так смотрите же! — строго крикнул ему вдогонку Дягилев. — Чтобы к вечеру все шестьдесят плах были готовы! Плотник это наш, — объяснил он Сергею. — Он у них за старшего. Работник хороший! — И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил: — Конечно... бывает, что и выпивает.

Они пошли по стройке.

— Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчёт расценок? — спросил Сергей.

— Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?

— На что жаловались?

— Известно, на что: грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им ещё говорить?

— А на третьем участке, на первом, там, где русские, почему там не жалуются?

Дягилев промолчал.

— Чудно дело, — удивился Сергей. — Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?

— Значит, такой уж у них характер вредный, — не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил: — На втором пролёте, Сергей Алексевич, опорный столб треснул, и я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят.

Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прийти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел всё того же старика татарина.

«Что такое?» — удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему.

Старик поздоровался и тихо пошёл рядом.

— Ну что? — нетерпеливо спросил Сергей. — И куда ты всё прячешься? Рассказывай, что у тебя... Обсчитали?... Обманули?... Обидели?...

— Обманули, — равнодушно согласился старик, — и обсчитали — верно. И обидели... верно!

— Ты и сейчас работаешь?

— Нет, — так же равнодушно, точно и не о нём шла речь, продолжал старик. — В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался. На другой день уволил. Старый, говорит, плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал — плохо работают. А тебе, может быть, сказал: сами ушли. Расценки низкие. Конечно, низкие, — дёргая Сергея за рукав, продолжал старик. — Я двадцать кубометров взял, а получил деньги за шестнадцать. А разве я один? Таких много. Где четыре кубометра? Конечно, выходит низкие. Я ему говорю, а он сердится: «Ты мне голову не путай, я тебя грамотней». Я пошёл к старшему, к Дягилеву, а он говорит: «Я вашего дела не знаю. Я даю Шалимову бумагу — ведомость — и деньги. Деньги он берёт, а бумагу с вашими расписками несёт мне обратно. Если всё верно, то и я говорю — верно. Вы с ним считайтесь, а я и языка вашего не понимаю, кто свою мне фамилию распишет, кто чужую... Аллах вас разберёт. Конечно, аллах, — с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил: — До свиданья, начальник, спасибо!

— погоди! — окликнул Сергей. — Постой, куда же ты? Пойдём со мной.

Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты.

Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой.

Он пошёл к сараям и увидел, что там собралось всего человек восемь. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына третьего дня родился ребёнок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, что они так и не поняли, чего он хочет.

Сергей отпустил людей и пошёл к лагерю.

И тогда он решил, пока дело разберётся, Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился.

Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка.

«Опаздываю, — понял Сергей. — Алька рассердится».

За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд.

— Кто? — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей.

Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убежал прочь.

Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух. Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул.

Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошёл дальше и шёл так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога.

Музыка внизу играла громче, громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями.

Сергей защёлкнул предохранитель, спрятал браунинг и ещё быстрее зашагал к Альке. Наутро после костра ребят разбудили часом позже. Ещё задолго до линейки ребята уже разведали про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал, и поэтому к Натке подбегали с расспросами один за другим без перерыва.

Спрашивали: верно ли, что Толька сломал себе ногу? Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полоумный?

Сначала Натка отвечала, но потом, когда увидела, что всё равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться, и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же, на утренней линейке, вышел и рассказал отряду, как было дело.

Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но всё было бесполезно.

Раздражённая Натка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на пять минут раньше, чем обычно.

Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо.

Против обыкновения, Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы.

Молча и внимательней, чем обычно, наблюдал за Владиком Иоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился.

Со слов Владика, Натка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующий раз за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случае с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничанье приводит.

— Неправда! — прозвучал по всей линейке негодующий голос. — Всё это враки и неправда!

Натка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и, к большому изумлению своему, увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Иоська. Ребята зашевелились и зашептались.

— Тишина! — громко окрикнула Натка. — Почему говоришь, что всё неправда?

— Всё неправда, — убеждённо повторил Иоська. — Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они ещё куда-то. А куда, не знаю. И там, а не по дороге с костра с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд.

Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Иоську или со злобой начнёт оправдываться. Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.

— Дашевский, — в упор спросила Натка, — это правда, что вас вчера на костре не было?

Не пошевелившись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.

— Дашевский, — сердито сказала тогда Натка, — сегодня же на вечернем докладе обо всём этом будет сказано начальнику лагеря, а сейчас выйди из строя и завтракать пойдёшь отдельно.

Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату.

Через минуту отряд с песней шёл вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошёл совсем.

Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел, на пустом холмике, под тенью спалённой солнцем акации, сидел невесёлый Владик. Всё вышло как-то не так... нелепо и бестолково.

В сущности, Владик очень хотелось, чтобы ничего не было: ни вчерашней ссоры с Иоськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Наткой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет, а он ни в чём не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывай его сто начальников, он будет стоять молча, и пусть думают как хотят.

По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика.

Владик посмотрел на мяч и не пошевелился.

Он не пошевелился и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась суматоха: все бежали, разыскивая потерянный мяч, и громче других раздавался недоумевающий голос Иоськи: «Да он же вот в эту сторону полетел... Я же видел, что в эту!»

«Мне-то что?» — даже без злорадства подумал Владик и нехотя повернулся, слышав чьи-то шаги.

Подошёл и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то сырое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк.

Он наскрёб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владик, свернул и закурил.

Из-за угла выскочил Иоська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошёл, поднял и укоризненно сказал:

— Что же! Если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты? Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть? Какой же ты товарищ?

Иоська убежал.

— Видал? — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорблённый Владик. — Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика.

— Известно, — сплёвывая на траву, охотно согласился парень. — Им только этого и надо. Ишь ты какой рябой выискался!

В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду, и ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика ещё более усилилось, и он продолжал совсем уж глупо и фальшиво:

— Он думает, что раз он звеньева, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь, нынче лакеев нету.

— Конечно, — всё так же охотно поддакнул парень. — Это такой народ... Ты им сунь палец, а они и всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода.

— Какая порода? — удивился и не понял Владик.

— Как какая? Мальчишка-то прибежал — жид? Значит, и порода такая!

Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивой.

«Вот оно что! Вот кто за тебя! — пронеслось в его голове. — Иоська всё-таки свой... пионер... товарищ. А теперь вон что!»

Сам не помня как, Владик вскочил и что было силы ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся. Но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика. Но тот, не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперёд, что парень вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь.

Когда Владик опомнился, то рядом уж никого не было. За стеною всё так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слышали.

Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна: из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку.

Запыхавшийся Алька стоял всего в пяти-шести шагах и внимательно, с сожалением смотрел на Владика.

— Это тебя толстый избил? — тихо спросил Алька. — А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?

— Алька, — пробормотал испуганный Владик, — иди... ты не уходи... мы сейчас вместе.

Они ушли в глубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но ярко-красные пятна на безрукавке и ссадина пониже виска остались.

Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадина, можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но когда всё вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего?

И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка? Нет, объяснить нельзя никак...

— Алька, — быстро заговорил Владик, — ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегает к морю. Я за утёсом место знаю. Там никогда никого нет... Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет — никто и не заметит.

Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошёл к воде. Но так как ночью был шторм и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашёл в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку.

«Ничего, — думал он, — выстираю, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну конечно, выговор. Ладно. Стерплю, обойдётся. А потом выздоровеет Толька, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему...»

«Ах, собака! — злорадно вспомнил он серомордого парня. — Что получил? Тоже нашёл себе товарища!»

Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину.

И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно окликнул его по имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Натка и грозит ему пальцем.

Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла.

И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно и ничто в мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой.

Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали. Как и всюду, виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали. Но чаще всего прощали.

Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребёнка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для парнишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком

здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшей из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайних степей Закаспия.

И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень.

Но за море не прощали никогда.

С тех пор как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море двенадцатилетний пионер, незыблемый и неумолимый вырос в лагере закон: каждый, кто без спроса, без надзора уйдёт купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.

И от этого беспощадного закона лагерь не отступал ещё никогда.

Владик вышел из воды, крепко выжал безрукавку, оделся и взял Альку за руку.

Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувших с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны с шумом и ворчаньем бродят по пустынным площадям и улочкам.

— Знаешь, Алька, — грустно заговорил Владик, — когда я был ещё маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в Советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу. А сестра, Влада, уже большая была — семнадцать лет. Пришли мы в рощу. Она легла на полянке. Иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я, как сейчас помню, услышал вдруг: «фю-фю». Смотрю — птичка с куста на куст прыг, прыг. Я тихонько за ней. Она всё прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашёл. Потом вспорхнула — и на дерево. Гляжу — на дереве гнездо. Постоял я и пошёл назад. Иду, иду — нет никого. Я кричу: «Влада!» Не отвечает. Я думаю: «Наверно, пошутила». Постоял, подождал, кричу: «Влада!» Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг, гляжу, под кустом что-то красное. Поднял, вижу — это лента от её платья. Ах, вот как! Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, а она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо ещё, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал её про себя дурой, дрянью и ещё как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну, пусть лучше она теперь домой не ворочается!» А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади да раз меня по затылку, два по затылку! Я стою — ничего не понимаю.

А потом уж мне рассказали, что, пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли её и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на неё кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька.

— Она и сейчас в тюрьме сидит? — спросил не пропустивший ни слова Алька.

— И сейчас, только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия, все думали: уж и так четыре года сидит — может быть, выпустят. А позавчера пришло письмо: нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов — нет... не выпускают... А потом на другой день пошёл я уже один в рощу и назло гнездо разорил и в птицу камнем так свистнул, что насилу она увернулась.

— Разве ж она виновата, Владик?

— А знал я тогда, кто виноват? — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих. — Завтра меня из отряда выгонят, — объяснил он Альке. — Пока ты за скалой играл, Натка меня сверху увидела.

— Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал! — удивился Алька.

— А кто поверит?

— А ты правду скажи, что только полоскал, — заглядывая Владиду в лицо, взволновался Алька.

— А кто теперь моей правде поверит?

— Ну, я скажу. Я же, Владик, всё видел. Я играл, а сам всё видел.

— Так ты ещё малыш! — рассмеялся Владик. Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьёзно попросил:

— Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадёт: зачем со мной связался? Да мне ещё хуже будет, зачем я тебя к морю утащил. Идём, Алька. Эх, ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?

Алька помолчал.

— А моя мама тоже в тюрьме была убита, — неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными нерусскими глазами.

Ужинать отряд ходил без Натки. Натка долго проканителилась в больнице, где ей пришлось ожидать доктора, занятого в перевязочной.

С Толькой оказалось уж не так плохо: три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже.

На обратном пути её окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Натка ничего не знала, а про третью сказала комсомольскому библиотекарю, что он врёт и что картинка эта была вырезана ещё до того, как книжка побывала в её отряде. Библиотекарь заспорил, Натка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябрёнку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламариона.

Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно всё убрали, и ей досталось только два помидора да холодное варёное яйцо.

Она вернулась в отряд, но там, как нарочно, уже поджидала её кастелянша со своими бумагами и подсчётами. Увернуться Натка не успела.

— Сколько у вас потеряно носовых платков? — спросила кастелянша, решительно усаживая рядом с собой Натку и неторопливо раскладывая свои записки.

— Сколько? — вздохнула горько Натка и начала про себя подсчитывать по пальцам. — Вася! — крикнула она пробежавшему октябрёнку Бубякину. — Сбегай позови звеньевых. Только Розу не ищи — она внизу. А потом узнай, нашёл Карасиков свой платок или нет. Наверно, растрёпа, не нашёл.

— Он на меня вчера плюнул, — мрачно заявил Вася, — и я с ним больше не вожусь.

— Ну, не водись, а сбегай. Вот погодите, я с вами поговорю на линейке, — пригрозила Натка. И, обернувшись к кастелянше, она продолжала: — Полотенец у нас уже четырёх не хватает. Галстуки ещё вчера у всех были. А вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна, сейчас звеньевые придут — может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая.

Натка обернулась и увидела, что её тихонько трогает за рукав Алька.

— Ну, что тебе? — спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно.

— Знаешь что? — негромко, так, чтобы не услышала кастелянша, заговорил Алька. — А я тебя искал, искал... Знаешь... Он совсем не виноват. Я сам был и всё видел.

— Кто не виноват? — рассеянно спросила Натка и, не дослушав, сказала: — А две вчерашние безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде два-три таких наберётся. А у меня... откуда же?

— Он совсем не виноват, — ещё тише и взволнованней продолжал Алька. — Ты, Натка, послушай... Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Натка. Он все письма про сестру ждал, ждал. Других выпустили, а её не выпустили.

— Я вот им подерусь! Я вот им подерусь! — машинально пригрозила Натка. — Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут звеньевые? А как у Карасикова?

— Он на меня фигу показал, — хмуро пожаловался Вася, — и я с ним больше никогда не

вожусь. А платка у него всё равно нет. И я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался.

— Ладно, ладно. Я с вами потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марфа Адольфовна.

— Он нисколько не виноват, а ты на него думаешь, — уже со злобой и едва сдерживая слёзы, забормотал Алька. — Он и сам тоже один раз на сестру подумал: и дура и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Натка... Он, Владик, лежал...

— Что Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать? — резко обернулась так ничего и не разобравшая Натка и тотчас же накинулась на Иоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро.

Если бы Натка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она всё-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было.

На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось. Пошли посмотреть в палату: не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы — нет, не откликается.

Тогда забеспокоились и забежали, стали друг у друга расспрашивать: где, как и куда?

Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал: «Плакса-вакса!», то Алька остановился и швырнул в Карасикова камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал, а пошёл было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался.

Всё это, конечно, узнала не Натка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышлёней и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку, усталая и подавленная.

Смутно припомнились ей какие-то непонятные Алькины слова: «... А я тебя искал, искал... Он всё письма ждал, ждал... Ты только послушай, Натка...»

«Зачем искал? Какого письма?» — с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез.

«Хорошо, — подумала Натка. — Хорошо, завтра тебе и это всё припомнится».

Один за другим возвращались посланные. И когда, наконец, вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю.

Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарём, сбоку затрещало, захрустело, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик.

— Не надо, — задыхаясь, сказал он, — не надо...

— Ты нашёл? — крикнула Натка. — Где он? Уже дома? В отряде?

— А то как же! — негромко ответил Владик. И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на неё с прямой и открытой ненавистью.

Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его, он не послушался и исчез. Бояться ему всё равно теперь было некого и нечего.

Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дашевский нашёл Альку в двух километрах от лагеря, в маленьком домике под скалой, у отца. Там Алька сейчас и остался.

Натка прошла к себе в комнату и села.

Рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки: и Катюшу Вострецову с её разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и кастеляншу с её галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньём... И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать.

В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что её хочет видеть

Алькин отец.

Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был тёплым. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была тёмная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы.

Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго.

На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали.

На следующий день не вызвали тоже.

И когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и всё ходил сначала одиноким, осторожным волчонком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться.

Но так как огрызаться было не на кого и жизнь в Наткином отряде, всем на радость, пошла ладно, дружно и весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет Толька, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире.

С Наткой он был сдержан и вежлив.

Но едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же всё-таки на самом деле Толька свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые он был непревзойдённый мастер.

И ещё что заметила Натка — это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всём весёлую Алькину ребячью жизнь.

Так, недавно, возвращаясь с прогулки, Натка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек.

Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, кажется, забыл её дома. А Натка очень уверенно ответила, что кажется, он опять позабыл банку под кустом или у ручья. И всё же, когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати.

Озадаченная Натка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика.

А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли весёлые ручейки. Даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса, на час.

Шли спешные последние работы, и через три дня целый поток холодной, свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю.

Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха сторожика сказала ему, что у него на столе лежит телеграмма.

Важных телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому сначала он сбросил гимнастёрку, умылся, закурил и только тогда распечатал.

Он прочёл. Сел. Перечёл ещё раз и задумался. Телеграмма была не длинная и как будто бы не очень понятная. Смысл её был таков, что ему приказывали быть готовым во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву.

Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошёл к лагерю.

В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой.

Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка. Потом ещё издали послышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое: давно уже помирившиеся октябрята Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они

держали по большому красному яблоку.

Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине.

— Коза! Коза! Отдай, Эмка! Васька, держи её! — завопил Карасиков, с негодованием глядя на хладнокровно остановившегося товарища.

— Доганай! — гортанно крикнула Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжёлое яблоко. — У, глупый... На! — сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему своё яблоко: — На! — А сама уже издали звонко крикнула: — Ты Алькин?... Да? Кушай! — и, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала.

— А ваш Алька вчера её, Эмку, водой облил, — торжественно съездничал Карасиков. — А Ваську Бубякина за ухо дёрнул.

— Что же вы его не поколотите? — полюбопытствовал Сергей.

Карасиков задумался.

— Его не надо колотить, — помолчав немного, объяснил он. — У него мать была хорошая.

— Откуда вы знаете, что хорошая?

— Знаем, — коротко ответил Карасиков. — Нам Натка рассказывала. — И, помолчав немного, он добавил: — А когда Васька хотел его поколотить то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то, ведь они голые.

Сергей рассмеялся. Где-то неподалёку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребята кинулись туда.

Потом подошли Натка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечёвке маленький грузовичок, до краёв наполненный яблоками, грушами и сливами.

— Это наши ребята за ужином нагрузили. Вот мы и увозим, — объяснил Алька. — Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдём.

Грузовик двинулся, а Сергей и Натка пошли сзади.

— Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву, — неохотно сообщил Сергей. — Так надо, — ответил он на удивлённый взгляд Натки. — Надо так, Наташа.

— Ганин! — набравшись решимости, спросила Натка. — А что, Алька когда-нибудь мать свою видел?

То есть... видел, конечно, но он её хорошо помнит?

Грузовик вздрогнул, два яблока выпали и покатались по дорожке. Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.

Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и с укоризною сказал:

— Что же это, шофёр? Ты тормози плавно, а то шестерёнки сорвёшь да и машину опрокинешь.

Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго. Однако Алька вернулся только ко сну.

Натка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо.

Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Натку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Натка захочет, то и её отпустят вместе с семьёй.

Противоречивые чувства охватили Натку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было, поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло всё детство. И было как-то беспокойно и радостно.

Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами.

Давно ли: дядя... папаха, дядина сабля за печкой... мать с хворостинкой... Давно ли пионеротряд...

сама пионерка... Потом совпартшкола. И вдруг год-два — и сразу уже ей девятнадцатый.

Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно.

Обернувшись, она увидела, что Алька всё ещё не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами.

— Ты что? Спи, малыш! — накинулась на него Натка.

Алька улыбнулся и привстал.

— А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лез и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мама?» Он подумал и показал: «Вон в той». Я смотрел, смотрел, всё равно только одно море. Я спросил: «А где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада?» Он подумал и показал: «Вон в той». Чудно, правда, Натка?

— Что же чудно, Алька?

— И в той стороне... и в другой стороне... — протяжно сказал Алька. — Повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Натка? — живо продолжал он. — Папа у меня русский, мама румынская, а я какой? Ну, угадай.

— А ты? Ты советский. Спи, Алька, спи, — быстро заговорила Натка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели.

Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки:

— Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?

Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать ещё в очень глубоком, почти позабытом детстве:

*Плыл кораблик голубой,
А на нём и я с тобой.
В синем море тишина,
В небе звёздочка видна.
А за тучами вдали
Виден край чужой земли...*

Тут во сне Алька заворочался. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его покрасневшему лицу.

— А знаешь, Натка? — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька. — А я всё-таки свою маму один раз видел. Долго видел... целую неделю.

— Где? — не сдержавшись, быстро спросила Натка. Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой:

— Нет, не скажу... это наша с папкой тоже — военная тайна.

Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил:

— Смотри... и ты не говори никому тоже.

После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приёмки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе.

Лагерный тир был расположен у берега, как раз по пути, пониже шоссейной дороги. Сергей завернул к тиру.

Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного — человек восемь. Среди них были Владик и Иоська.

Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подходил к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, а когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как

будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу.

Стреляли из мелкокалиберки на пятьдесят метров.

— Тридцать пять, — откладывая винтовку и оборачиваясь к Иоське, спокойно сказал Владик. — Бьюсь обо что хочешь, что тебе не взять и тридцати.

— Тридцать выбью, — поколебавшись, решил Иоська.

— Ого! Ну, попробуй!

Иоська виновато взглянул на товарищю и взял винтовку. Пригатавливался он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло.

И всё-таки тридцать очков он выбил.

В это время к Сергею подошёл Дягилев.

— Дурная голова! — с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу. — Сам-то я поехал, а наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич. А вернёмся — я тогда прежний порву.

— Сорок выбью, — уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Иоськи винтовку. — Меньше сорока не будет, — твёрдо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.

— Сорок мне не выбить, — сознался Иоська. — У меня после третьего выстрела рука устаёт.

— А ты не целься по часу, — посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первой же пули положил десять.

Ребята насторожились и заулыбались.

— А ты не целься по часу, — повторил Владик и снова выбил десять.

На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея.

Тут как будто бы кто-то его дёрнул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.

— Сорвал! Что ты? Что ты? — зашептались и задвигались ребята.

Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.

— Ну, двойка! — разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.

Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошёл прочь.

Сергею стало жалко растерявшегося Владика.

— Не сердись, — успокоил он, задерживая его руку. — Ты хорошо стреляешь. Только не надо было оборачиваться.

— Нет, — сердито ответил Владик. — Это совсем не то.

Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.

— Я знаю, — сказал он останавливаясь, — это вы за меня заступились перед Наткой. Вы не спорьте, я хорошо знаю.

— Я не спорю, но я не заступался. Я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю.

— И я тоже. — Владик облизал пересохшие губы. И, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек. — Это кто к вам сейчас подходил?

— Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик? Владик запнулся.

— А если он десятник, то зачем он ружья прячет? Зачем? Из-за него мы с Толькой нечаянно чуть вас не убили. Из-за него Толька свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся. У меня три патрона — тридцать очков. Вдруг вижу... Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал... сорвал два, а если бы сразу обернулся, то и все пять сорвал бы. Разве я его тут ожидал?

— Постой, постой, да ты не кричи! — остановил Владика Сергей. — Кто меня убил? Какое

ружьё? Кто прячет? Поди сюда, сядь.

Они сели на камень.

— Помните, вы верхом ехали и двум мальчишкам записку к начальнику лагеря дали?

— Ну?

— Это мы с Толькой были. На башню, дураки, лазили... Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули да по кустам из нагана...

— Я не по кустам, я в воздух.

— Всё равно. Это мы с Толькой бабахнули. Это он нечаянно. А потом мы бросились бежать; тут он — под откос и расшибся.

— А ружьё? Ружьё где вы взяли?

— А ружьё вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Там мы лазили и нечаянно наткнулись.

— Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот? — настойчиво переспрашивал Сергей.

— Этот самый. Мы с Толькой наверху рядом сидели. Тоже сунулся под руку, — с досадой добавил Владик. — Я обернулся, гляжу — он. Откуда, думаю? Может быть, за ружьём? Раз, раз — и сорвал.

— А ружьё где?

— Там оно... где-нибудь в чаще, под обрывом, — уже нехотя закончил Владик. — Если надо, такходим, можно и найти.

— Владик, — торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева. — Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмём с собой Альку и пойдёмте вместе гулять. Там заодно всё посмотрим и поищем.

... В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на третий участок за Дягилевым. Ободранная о камни, грязная двустволка стояла в углу. Её нашли в колючках под обрывом.

На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался и твердил только одно: что аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чём не виноват.

Вошёл Дягилев. Ещё с порога он начал жаловаться, что шалимовская бригада совсем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками.

Но, наткнувшись на Шалимова, он сразу насторожился, сдвинул с табуретки молодого парнишку-рассыльного и сел напротив Сергея.

— Врёшь, что тебя обворовали, — прямо сказал Сергей. — Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал.

И, указывая на притихшего Шалимова, он спросил:

— А рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли? — Шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть, — быстро ответил нерастерявшийся Дягилев. — Что ты, Сергей Алексеевич? Или динамитом в голову контузило?

Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова:

— Ах, вот что! Святой Магомет, это ты что-нибудь напроорочил?

— Я ничего не говорил, — испуганно забормотал Шалимов. — Я ничего не видал, ничего не слышал и не знаю. Это бог всё знает.

— Святая истина, — мрачно согласился Дягилев. — Ну и что дальше?

— Документы у тебя свои или чужие? — спросил Сергей.

— Документ советский, за свои нынче строго. Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил, а я — то тут при чём?

В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика.

— Владик, — спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева, — этот человек ружьё прятал? Владик молча кивнул головой. Сергей обернулся к телефону.

Почувяв недоброе, Дягилев тоже встал и, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошёл к двери.

— Ты постой, вор! — вскрикнул побледневший Владик. — Здесь ещё я стою.

— А ты что за орёл-птица? — крикнул озадаченный Дягилев и нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.

— Отпустите лучше, Сергей Алексеевич, — сказал Дягилев. — Стройка закончена. Плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я — в другую. Всем жрать надо.

— Всем надо, да не все воруют.

— Вам воровать не к чему. У вас и так всё своё.

— А у вас?

— А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром, вам же лучше будет.

— Мне лучше не надо. Мне и так хорошо... А ты, я смотрю, кулак. Но-но! Не балуй — окрикнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжёлую табуретку.

— Был с кулаком, остался с кукишем, — огрызнулся Дягилев и безнадёжно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.

— Лучше бы отпустили, себе только хуже сделаете, — как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дёрнул за рукав всё ещё то-то бормотавшего Шалимова. — Вставай, святой Магомет! Социализм строили... строили и надорвались. В рай домой поехали! А вон за окном и архангелы.

Через два дня, в полдень, торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю.

Вечером по нижнему парковому пруду, куда направили всю первую, ещё мутную воду, уже катались на лодках.

Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под душей несли отчаянный визг. И суровый Гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал:

— Ну, будет, будет вам! Вот сорву крапиву да через окно крапивой по голому. И скажи, что за баловная нация!

Где бы ни появлялся этот масенький темноглазый мальчуган — на лужайке ли среди беспечных октябрат, на поляне ли, где дико гонялись казаки и разбойники — отчаянные храбрецы, на волейбольной ли площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы, — всюду ему были рады.

И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый толкнёт его, или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда всё видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили:

— Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька.

И потом вполголоса прибавляли ещё что-то такое, от чего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого весёлого малыша.

С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но прошёл день, прошёл другой, а телеграммы всё не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело.

Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый Корчаганов.

Однако Натка где-то задерживалась.

Они лежали на тёплой, душистой поляне и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад,

оба молчали.

— Папка, — трогая за плечо отца, спросил Алька. — Владик говорит, что у одного лётчика пробили пулями аэроплан. Тогда он спрыгнул, летел, летел и всё-таки спустился прямо в руки к белым. Зачем же он тогда прыгал?

— Должно быть, он не знал, что попадёт к белым, Алька.

— А если бы знал?

— Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьётся.

— Не отбилась, — с сожалением вздохнул Алька. — Владик говорит, что на том месте, где лётчика допытывали и убили, стоит теперь вышка и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?

— Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война такая была — без парашютов.

— А у нас какая будет?

— А у вас, может быть, уж никакой войны не будет.

— А если?

— Ну, тогда вырастешь — сам увидишь. Ты почему про лётчика вспомнил, Алька?

— По сказке. Помнишь, когда Мальчиша заковали в цепи, то бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали.

Алька вскочил с травы и попросил:

— Пойдём, папка. Мы Натку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке, только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются.

Они спустились на тропку и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому.

Они отошли уже довольно далеко, как Сергей спохватился, что забыл на полянке папиросы.

— Принеси, Алька, — попросил он, — я тебя здесь подожду. Беги напрямик, через кусты. Ты малыш и живо пролезешь.

Алька нырнул в чащу.

— Ау! Где вы? — донёсся издали голос Натки.

— Эге-гей! Здесь! — громко откликнулся Сергей. — Сюда, Наташа?

При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.

— Зачем брата посадил? — глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными, недобрыми глазами. — Хитрый! — протяжно добавил он и погрозил пальцем.

— Иди проспись, — посоветовал Сергей. — Смотри, ты себе руку о проволоку раскровенил.

— И все-то вы хи-итрые! — так же протяжно повторил пьяный и вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела.

Он хрипло крикнул:

— Зачем брата посадил? Лучше отпусти, а то хуже будет!

— Брат твой кулак и вор — туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь. Пойди спи, — резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.

— Брат — вор, а я и вовсе бандит! — дико выкрикнул пьяный, и, схватив с земли тяжёлый камень, он что было силы запустил им в Сергея.

— Брось, оставь! — крикнул, отклонившись, Сергей.

Но ослеплённый злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты и кто-то негромко вскрикнул...

— Стой!... Назад!... Назад, Алька! — в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному. Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку.

Сергей обернулся.

Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжёлые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мёртвой Марицы. А ещё рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник «Первого октябрятского отряда мировой революции», такой малыш — Алька.

Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.

— Алька, — почти шёпотом попросил Сергей, — ты, пожалуйста, вставай...

Алька молчал.

Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки и, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь, пошёл в гору.

Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая весёлая, черноволосая, без платка, без галстука; подбегая, она раскинула руки и радостно спросила:

— Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?

— А он, кажется, уже не спит, — как-то по чужому ответил Сергей и остановился.

И, очевидно, опять что-то случилось, потому что поражённая Натка отступила назад, подошла снова и, заглянув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далёкую песенку о том, как уплыл голубой кораблик...

На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу.

И светлым, солнечным утром, когда ещё всюю распевали птицы, когда ещё не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришёл провожать Альку.

Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чём-то крепко клялись, но всё это плохо слушала Натка.

Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова — шахтёр.

Она видела босого, но сегодня подпоясанного и причёсанного Гейку и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах.

Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинёт винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет.

Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Натка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастёрке привинчен военный орден.

Тут Натку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет.

Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих.

Они навалили груды тяжёлых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами.

И поставили над могилой большой красный флаг.

В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашёл к себе и стал собираться. Он уложил весь

свой несложный багаж, но когда подошёл к письменному столу, чтобы собрать бумаги, то он не нашёл там Алькиной фотографии. Он потёр виски, припоминая, не брал ли он её с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было.

Голова работала нечётко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого — на себя, на других ли — сердиться.

Он пошёл к Натке. Натка укладывалась тоже.

Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла всё ещё нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалёку, но его любимой картинке с краснозвёздным всадником уже не было.

— Завтра я уезжаю, Наташа, — сказал Сергей. — Меня вызвали.

— И я тоже. Мы вместе поедem. Ты пить хочешь? Пей из графина. Теперь вода холодная.

— Да, теперь вода холодная, — машинально повторил Сергей. — Ты у меня не была сегодня, Наташа?

— Нет, не была. А что... Серёжа? — Не знаю я, куда-то Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул — не помню. Искал, искал — нету. В Москве у меня ещё есть, — словно оправдываясь, добавил он. — А здесь больше нету.

В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Натку, чтобы за что-то её выругать. Но, увидев Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова.

Они решили ехать завтра рано утром — машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву.

В последний раз обходила Натка шумный и отчаянный свой четвёртый отряд. Ещё не везде смолкли печальные разговоры, ещё не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже, рассевшись на брёвнах, дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрю. Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, аукали в парке и визжали под искристыми холодными душами.

Натка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал. Она заглянула ему через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку.

Владик отпрыгнул и крепко спрятал карточку за спину.

— Зачем это? — с укором спросила Натка. — Разве ты вор? Это нехорошо. Отдай назад, Владик.

— Вот скажи, что убьёшь, и всё равно не отдам, — стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.

И Натка поняла: правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст.

— Владик, — ласково заговорила Натка, положив ему руку на плечо, — а ведь Алькиному отцу очень, очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится.

Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем по-ребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алькину карточку. Голос его дрогнул, и непривычные крупные слёзы покатались по щекам.

— Да, Натка, — беспомощным, горячим полушёпотом заговорил он, — у отца, наверно, ещё есть. Он, наверно, ещё достанет. А мне... а я ведь его уже больше никогда...

Минутой позже, всё ещё собираясь выругать за что-то Натку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Натка Шегалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети.

Он постоял, тихонько, на цыпочках, вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной

воды.

... Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Натка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Иоська и Эмка.

— Возьми... Это ему и тебе, — отрывисто сказал Владик. — Да бери. Ты не думай. Это я не украл. Мы пошли к Гейке. Мы попросили садовника. Мы сказали кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка!

Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им всё равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рывкнула, и Натка, приподнявшись, крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зелёному лагерю:

— До свиданья, до свиданья!

Машина рывкнула, плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору.

Здесь, как будто бы нарочно, шофёр сбавил ход. Натка обернулась.

Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой...

В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек. Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Натка вспомнила, что где-то вот здесь в двадцатом был убит и похоронен их сосед, один весёлый сапожник, который, перед тем как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал с тем, чтобы никогда домой не вернуться.

И Натка подумала, что домика того давно уже нет, а на всём этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку — Всемиру — никто никогда таким чудным именем не звал и не зовёт, а зовут её просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у неё недавно родился сын, такой же белобрысый, Пашка.

— А всё-таки где же Алька видел Марицу? — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Натка.

— Он видел её полтора года назад, Наташа. Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Её ранили, но она всё-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице, в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у неё спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей». — «Почему же ты смеёшься? Разве тебе не больно?» — «Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он насутился, присел поближе и потрогал её косы. «Ладно, ладно, и мы их пробьём тоже».

— А почему Алька говорил, что это тайна?

— Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. А мы думали — пусть ищет. И никому не говорили.

— А потом?

— А потом она уехала в Чехословакию и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и всё, Наташа.

Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, гружённые свежим пахучим зерном.

На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчёты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжёлых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались всё яснее и яснее у одной из далёких-далёких границ.

Натка отложила газету.

Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъёмники и экскаваторы. И росли, росли озарённые прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса — целые города, ещё сырые, серые, пахнувшие дымом, известью и цементом.

— Серёжа, — сказала тогда Натка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку, — ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?

Он улыбнулся и ласково погладил её по голове.

На вокзале их встретил сам Шегалов.

Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивлённый Сергей и сам стоял, глядя Шегалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь.

— Постой! Как это? — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шегалов. — Серёжка Ганин! — воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся. — А я смотрю... Кто? Кто это?... Ты откуда?... Куда?...

— Мы вместе приехали. А ты его знаешь? — обрадовалась Натка. — Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем.

— Поедем, поедем, — согласился Шегалов. — Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?

— Слов нету, — ответил Сергей. — А к вечеру, Шегалов, я всё припомню.

— А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?

— Дядя, — перебила сразу насторожившаяся Натка, — идём, дядя. Где машина?

Натка сидела посередине. А Шегалов весело расспрашивал Сергея:

— Ну как ты? Конечно, жена есть, дети?

— Дядя, — дёргая его за рукав, перебила Натка, — ты мне шпорой прямо по ноге двинул.

— Как это? — удивился Шегалов. — Твои ноги вон где, а мои шпоры — вон они.

— Не сейчас, — смутилась Натка, — это ещё когда мы в машину садились. — Так неужели не женат? — продолжал Шегалов и рассмеялся. — А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись, и была там одна такая девчонка темноглазая, чернокошая...

— Дядя! — почти испуганно вскрикнула Натка. — Это была... — Она запнулась. — Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?

— И что ты, шальная, не даёшь с человеком слова сказать? — возмутился Шегалов. — То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина, — с досадой ответил он. — Ну, вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером, — обернулся он к Сергею. — А то я на днях и сам в командировку еду. Дела, брат! — уже тише добавил он. — Серьёзные дела! Так и норовят нас слопать, да, гляди, подавятся.

К вечеру позвонил Шегалов и сказал, что он сегодня вернётся только поздно ночью! Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра.

Наутро Натка проснулась только в десять, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше.

Это очень опечалило Натку. До четырёх часов Натка ждала звонка, но потом у неё заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья, и пахло сырою рябиной.

У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные.

«Скорей надо за дело, — опуская газету, подумала Натка. — Домой ли, в Таджикистан ли... всё равно. Всюду работа, нужная и важная».

И Натка опять вспомнила Алькину Военную Тайну: «Отчего бились с Красной Армией сорок царей да сорок королей? Бились, бились, да только сами разбились?»

«Это давно бились, — подумала Натка. — А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут ещё, пока подрастут Владик, Толька, Иоська, Баранкин и ещё тысячи и миллионы таких же ребят... Надо работать, — думала Натка. — Надо их беречь. Чтобы они учились ещё лучше, чтобы они любили свою страну ещё больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая Военная Тайна, которую пусть разгадывает, кто хочет».

Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей.

Она бросилась к столу и нашла записку.

«Наташа, — писал Сергей. — Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за всё».

Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис.

И тогда ей вдруг очень захотелось ещё раз повидать Сергея.

Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в семь тридцать. У неё оставалось ещё полтора часа.

Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются. И только Сергей совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно угрюмый, и ждёт, когда наконец загудит паровоз, дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далёкий путь.

Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай.

На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде.

Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать.

Вдруг, совсем нечаянно, за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидела Сергея.

Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи — тоже.

Но что поразило Натку — это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий.

Слегка наклонившись, он внимательно и серьёзно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой. А вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки.

— Серёжа! — негромко позвала его Натка.

Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошёл ей навстречу. — Ну вот, — сказал он, сжимая её руку и почему-то виновато улыбаясь. — Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно всё вышло.

На перроне разговаривали они мало: сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию.

Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо.

Но когда они крепко расцеловались и Сергей уже изнутри вагона подошёл к окну, Натке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и тёплое.

Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвёртывались, и, глядя на него, она только успела совсем по Алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего, кроме них двоих, никто не видел.

И он её понял и наклонил голову.

Натка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг неё звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжёлые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном.

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Лётчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган.

Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Иоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки.

И она знала, что все на своих местах и она на своём месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.

Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок только потому, что туда прошёл с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод.

Мельком заглянула Натка в незавешенное окошко низенького домика и увидела, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице.

Тут Натка услышала тяжёлый удар и, завернув за угол, увидела покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часоуенки.

Когда тяжёлое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Наткой совсем ещё новый, удивительно светлый дворец.

У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали весёлую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч.

Натка спросила у них дорогу.

Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и тихонько, улыбаясь, пошла дальше.

Пробежал мимо неё мальчик, заглянул ей в лицо. Рассмеялся и убежал.

1935

Владимир Орлов

БРАТ МОЙ В АРМИЮ ИДЁТ



В. Орлов. "Брат мой в армию идет"

Почему играют марши,
Улыбается народ?
Потому что брат мой старший
Нынче в армию идёт!
И хотя останусь дома,
Я братишке помогу.
Все ракеты мне знакомы,
Быть наводчиком могу.
Если станет он пилотом –
Смастерю я самолёт.
Мы готовимся к полётам:
Он пилот и я пилот.
Попадёт в десант воздушный –
Я со стула прыгну в бой,
И раскроется послушно
Мамин зонтик надо мной.
Если станет он танкистом –
Я надену шлемофон.
Если станет он связистом –
У меня есть телефон.
Попадёт в военный флот –
Двину крейсера в поход,
А потом подводные
Лодки быстроходные.
Если вдруг братишка мой
Попадёт в десант морской –
У меня бушлат, ремень
И беретка набекрень.
Если станет он сапёром –
Мостик я построю вмиг.
Если станет он шофёром –
У меня есть грузовик.
Попадёт в пехоту брат –
У меня есть автомат,
Быстрый бронетранспортёр –
Электрический мотор.
Станет поваром мой брат –
За меня он будет рад:
Всё, что мне сейчас дают,
Я съедаю в пять минут.
Я хочу, как брат мой старший,
Стать защитником страны,
День и ночь Отчизну нашу
Охраняя от войны.

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ



**КАК Я БЫЛ
СОПДАТОМ
БУНДЕСВЕРА**

Алексей Тихонов «Как я был солдатом Бундесвера»

Предисловие

Это предисловие будет кратким. Я хочу лишь сказать, что в этой книге я выражаю свое субъективное мнение, которое, хотя и основывается на моем личном опыте, может не совпадать с официальной точкой зрения Бундесвера и любых других инстанций ФРГ. Некоторые названия в книге были изменены для сохранения военной тайны. Кроме того, я изменил или сократил имена, не желая затрагивать частную жизнь упомянутых мною лиц. Некоторая информация может быть не совсем актуальной из-за реформ Бундесвера, которые начались непосредственно в разгар моей службы и продолжаются до сих пор.

1. До армии

Где-то в Германии колонна новобранцев маршировала по улице старого города. Солнце светило на их головы. Это был обычный летний день, в который клерк сидел в офисе за компьютером, рабочий стоял у станка на заводе, студент отдыхал в кафе, попивая эспрессо, а новобранцы направлялись на праздничный приём к мэру. При виде солдат прохожие испытывали разные чувства. Одни уже привыкли к периодическим встречам с военными в городе. Другие где-то глубоко внутри были рады тому, что есть еще немецкие солдаты, марширующие по одной из центральных улиц в погожий день. Некоторые же, возможно, негодовали, потому что не любили армию и всё с ней связанное. Что же каждый думал на самом деле, нам не узнать.

Во главе колонны шел командир. Он оглянулся, и на мгновение на его лице проступило чувство гнева, смешанное с недовольством. Он рявкнул на солдат, отдав солдатам приказ, который показался прохожим лишь невнятным набором звуков. Но новобранцы, несмотря на их зеленость, все поняли. Каждый солдат поднял правую руку под углом чуть больше 90 градусов. Жест без сомнения напоминал то, как приветствовали фюрера немецкие солдаты в тридцатых и сороковых годах двадцатого века. Изумленные прохожие замедлили шаг, а некоторые даже остановились. Поначалу они молча недоумевали, не веря своим глазам. Несколькими минутами позже удивление многих переросло в возмущение, выражавшееся громкими выкриками. Командир, увидев происходящее, рявкнул еще раз на сопляков, после чего они опустили руки из позиции жеста приветствия нацистов и вернулись к исходной позиции, вытянув руки вдоль тела и встав по стойке смирно. Последовал следующий приказ. Солдаты двинулись дальше.

Несмотря на то, что очевидцам и показалось, будто солдаты кидали нацистские зиги, описанный мной случай произошёл не в Гитлеровской Германии. Дело было в том, что обычно солдаты равнялись в строю стоя, дотрагиваясь правой рукой до плеча впереди стоящего товарища (сослуживца). Во время ходьбы же рука не успевала дотрагиваться до плеча, и впереди идущий солдат был всегда чуть выше, чем идущий за ним. Именно поэтому и вышла подобная ситуация, столько похожая на будни немецкого городка лет 70 назад. Такая оплошность – уникальный случай, который произошёл, к счастью, не со мной, а с призывом, который был ровно за год до моего прихода в армию. Но именно по этой причине мы уже равнялись не правой рукой, а левой. Так никому больше не могло показаться, что нацизм вернулся и солдаты опять зигуют своему фюреру.

Я был немецким солдатом и хочу рассказать об этом. Почему мне служба нравилась и, почему нет. Почему я хотел стать офицером, но не стал им. Как нас гоняли и как мы отдыхали. Как нас кормили пиццей и гамбургерами. Как мы служили вместе с девушками и подчинялись им. И почему я всё-таки добровольно подписал договор на сверхсрочную службу.

1.1. Медосмотр

Военная медкомиссия проходила за год до моего призыва. От школы меня в этот день освободили. Я только примерно знал от друзей, чего мне стоит ожидать. В военкомате мне хотелось оставить о себе самые положительные впечатления. Поэтому я старательно побрился, хоть и брить тогда на моем лице особо было нечего. Помыл голову. Одел отутюженную рубашку. Начистил сапоги. Кроме того, надо было еще и вовремя прийти. Я не опоздал. Я пришел на четверть часа раньше назначенного времени и оказался одним из первых. Мне сразу дали заполнять анкету на нескольких страницах. В то время, как я ее заполнял, комната ожидания заполнилась людьми. Через полчаса в помещении было не продохнуть. Около полусотни молодых людей толклось в комнате ожидания. Иногда я посматривал на них и задавался при взгляде на некоторых вопросом: «Что же они думают о том, куда пришли?». Небритые лица, грязные головы, рваная и мятая одежда, пыльная обувь – всё это мелькало перед глазами. Видимо, я оказался одним из немногих, кто серьезно отнесся к первому личному контакту с армией.

Поскольку я пришел одним из первых, то и был я одним из первых, кого врачи начали осматривать. Для начала меня послали в раздевалку, где я переоделся в спортивную форму, принесенную с собой, а уличную одежду и обувь закрыл в шкафчике. Первым делом у меня взяли анализ мочи, чтобы посмотреть, не принимаю ли я наркотики. Бояться мне было нечего, потому что отношение мое к наркотикам крайне отрицательное. Последующего точного порядка я уже не помню. Проверяли мне все, что можно проверять, – зубы, зрение, суставы, кости, сердце, рефлексы и многие другие органы. Больше всего я волновался именно при обследовании костей и суставов, так как я знал, что у меня два раза перетиралось сухожилие на колене и я долгое время не мог его разгибать. Я знал, что провалить медосмотр было довольно-таки легко. Например, достаточно было честно и подробно рассказать врачам обо всех болезнях, болячках, аллергиях и прочих недугах, которые у тебя когда-либо были. К счастью, кроме моего когда-то болевшего колена проблем со здоровьем у меня никаких не было. Про колени я ничего говорить не стал, а врачи никаких недугов у меня не нашли. Мне очень хотелось в армию, и я боялся, что из-за колена меня могут не взять. Кроме того, врачи зачитывали мне список болезней, а я должен был говорить, были ли или есть у меня такие хвори. К моей радости, примерно об одной трети перечисленных болезней я никогда даже не слышал, по крайней мере по-немецки. Затем меня спрашивали о моих родителях, а также о родителях родителей: были ли или есть у них какие-либо хронические болезни, умирали ли они от сердечного приступа и прочее. Тут скрывать мне было особенно нечего, и я рассказал все, как есть.

После проверки моего физического состояния последовал интеллектуальный тест. Примерно час я сидел у компьютера и отвечал на разные вопросы и решал задачки. Тест состоял из трех частей – немецкий язык, математика-физика и логическое мышление. Немецкий и логическое мышление я сдал, а вот физику с математикой нет. Мой провал в этой части теста меня совсем не удивил, так как через несколько лет после того, как мы переехали в Германию, у меня начались проблемы с точными науками. Связано это было с тем, что той программы, которую я успешно прошел в России за семь классов, мне хватило в Германии лишь до середины девятого класса. Потом пришлось действительно учиться. Тем не менее моя неуспеваемость по математике и физике никак не повлияла на мою способность идти в немецкую армию. Самым главным было знание немецкого языка, с которым у меня все обстояло вполне благополучно.

В последней части этого теста мне надо было ответить письменно на следующий вопрос: «Почему я хочу служить в армии?» На этот вопрос я ответил примерно так. Во-первых, я считаю, что каждый мужчина должен отслужить в армии или, как минимум, уметь обращаться с оружием. Во-вторых, я считаю, что армия – это отличная возможность дать отдохнуть мозгу после конца школы и перед началом учебы в вузе. При мне же сотрудица, принимавшая тест, прочла мой ответ и была им

вполне удовлетворена. После тестирования меня попросили подождать в комнате ожидания, а через двадцать минут уже вызвали в следующий кабинет. Это было очень узкое помещение, в котором не было никого кроме одиноко сидевшего за столом парня.

– Герр Тихонов, результаты вашего медосмотра готовы, – Из принтера вылез листок, который он взял перед собой в руки. – Вы получили категорию Т2. Это значит, что в армии для вас закрыты следующие специальности: горные стрелки, десант, разведка пехоты, инженерные войска и строй бат, военные аквалангисты, пожарная служба и медицинские лаборанты.

– А что остается? – спросил я в некотором смятении.

– Не переживайте. У вас еще остается больше ста других возможностей. Не расстраивайтесь, одна четверть из тех воинских специальностей, для которых вы не пригодны, открыта только для сверхсрочников. Поэтому не все так плохо, – ободряюще улыбнулся он. – Вы же, как я понял, срочник?

– Да. И в каких войсках я буду служить?

– А это вы узнаете в следующем кабинете. Вот вам заключение врача и идите с ним к моим коллегам в кабинет по коридору направо. Они решат с вами этот вопрос, – он дал мне листок, который держал до этого в руках.

– Спасибо.

– Не за что. До свидания.

– До свидания.

Я вышел и отправился в следующий кабинет. Постучался, открыл дверь и зашел.

– Здравствуйте.

– Здравствуйте. Заходите. Садитесь, – я сел и положил заключение врача на стол. Женщина, сидевшая передо мной за столом, взяла этот лист и пробежалась по нему взглядом.

– У вас есть, какие-то пожелания? Где вы хотите служить? В каких войсках?

– Я хочу на флот, – сказал я.

На флот я хотел, потому что с детства вода была стихией, сопровождавшей меня изо дня в день на тренировках в бассейне.

– На флот призываем только осенью.

– Нет, осенью я не хочу. Я хочу летом.

Во-первых, я не хотел проходить курс молодого бойца в ливень и морозы. Во-вторых, я не хотел ждать три месяца до призыва. Я хотел идти в армию сразу после школы.

– Я люблю ходить пешком и бегать. Я хочу в сухопутные войска.

Моя собеседница посмотрела в компьютер и сделал несколько щелчков компьютерной мышкой.

– У вас есть рабочий опыт?

– Да. Я проходил практику на телеканале «Немецкая Волна» и работаю уже больше года свободным корреспондентом в одном русском журнале.

– В связисты пойдете?

– Да, почему бы и нет.

– Хорошо, тогда скорее всего мы вас пошлем в связисты. Это все. Можете идти, – она отдала мне заключение врача.

– Куда мне дальше идти?

– Никуда. Все. Вы на сегодня закончили. Можете идти домой. Только перед этим зайдите в главный секретариат и отметьтесь там, что прошли медосмотр. Отдадите им все документы, которые они потребуют. Остальные возьмете с собой.

– Спасибо. До свидания.

– До свидания.



БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКОГО ШКОЛЬНИКА

Анатолий Митяев

ПОДВИГ СОЛДАТА



ЧИТАЕМ ПО ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Анатолий Митяев
ПОДВИГ СОЛДАТА

Рассказы

Дорогой друг!

Я расскажу тебе о войне с фашистами. Расскажу совсем немного — шесть случаев из жизни солдат на фронте. Случаи эти — только капли в бескрайнем море солдатских подвигов, ведь с фашистами воевали миллионы советских людей, и каждый вложил свой ратный труд в победу.

Великая Отечественная война началась летом 1941 года, кончилась весной 1945 года. За это время скворцы четыре раза улетали от нас в тёплые края и четыре раза возвращались к родным скворечням. Ребятишки, поступившие в первый класс в первом военном году, к концу войны заканчивали начальную школу. И всё долгое-долгое это время не утихали кровопролитные бои, жестокие сражения. Враг был сильный. Ему удалось далеко пройти на нашу землю. Нужна была величайшая храбрость, нужно было воинское умение и нужен был самоотверженный труд, чтобы выбросить захватчиков из пределов Родины и окончательно добить их на их же земле.

Мы все — и взрослые, и дети — в долгу перед теми, кто не вернулся с войны, кто отдал жизнь за то, чтобы жила Родина. Чем можно оплатить этот долг? На такой вопрос есть лишь один ответ — любовью к Родине, готовностью защищать её от любого врага, постоянным трудом на пользу Родине. Ты, мой маленький друг, знай это и расти честным, трудолюбивым, смелым человеком, достойным своей страны.

Автор

Треугольное письмо

Дивизион тяжёлых гвардейских миномётов до нового приказа остановился в дубовом лесочке. Дубрава была молодая, деревца негустые, скопление машин могли заметить вражеские бомбардировщики. Поэтому миномётчики сразу принялись копать укрытия для автомобилей и маскировать их ветками. Кончили работу поздно вечером. Было ещё видно, и солдат Борис Михайлов взялся за письмо. Он старался писать почуще, знал: мама тревожится о нём каждый день и каждый час.

«Милая мамочка! — писал Борис. — Я жив-здоров. Кормят сытно. Погода тёплая. Стоим в лесу. Обо мне не беспокойся. Мы сейчас отдыхаем. Крепко обнимаю и крепко-крепко целую. Твой Боря».

Конверта у Бориса не было. В войну многого не хватало. Хлеба, например, соли. И такой простой вещи, как конверты. Без них-то научились обходиться... Борис согнул бумажный лист по верхнему углу — получился косой парус, парус согнул — получился домик с крышей; нижние углы домика тоже согнул и заправил под крышу — получился треугольник, письмо и конверт вместе... Идти к писарю, который отправлял почту, было поздно. Борис положил письмо в карман гимнастёрки — до утра, лёг на шинели под кустиком, укутался с головой, чтобы не кусали комары, и сон сразу пришёл к нему.

Был сон короток. Едва забрезжил рассвет, дивизион подняли по тревоге.

Колонна машин с пусковыми станками и эрэсами — реактивными снарядами, покинув дубраву, двигалась чистым полем. Позади колонны всходило солнце. Большое, красное. Пыль закрыла его.

Но солнце поднялось выше пыльного облака, будто хотело посмотреть, куда едут гвардейские миномётчики.

Впереди была линия фронта. Оттуда, из-за этой линии, прилетел снаряд. Борис в кабине грузовика не слышал его свиста, поэтому не испугался, а удивился, когда в поле взметнулась чёрная земля. Автомобили прибавили скорость. То в поле, то на дороге взрывались снаряды. На счастье, дорога спустилась в овраг. Вражеские наблюдатели теперь не видели автомобилей, и обстрел прекратился.

Овраг был широкий, глубокий, с крутыми стенами. По нему, как по безопасному туннелю, шли к передовой солдаты, ехали автомобили — с пушками, со снарядами, с кухнями и хлебом. В обратную сторону тягач тащил танк со сбитой башней. Лошадь, запряжённая в двуколку, везла двух раненых, они лежали неподвижно, их головы были укутаны бинтами.

«Вот если меня так ранят или убьют?.. — подумал Борис. — Когда мама узнает, что меня убили, будет долго плакать».

Низко над оврагом, с рёвом мотора и стуком пулемётов, пронёсся «мессершмитт» — немецкий истребитель. По нему дали очередь наши пулемёты, замаскированные на откосе. Тут же появился истребитель с красными звёздами. Погнался за врагом.

Так и ехали миномётчики. Без происшествий. Артиллерийский обстрел, обстрел с самолёта — обычное дело на войне.

Так и ехали миномётчики. Без происшествий. Артиллерийский обстрел, обстрел с самолёта — обычное дело на войне.

Остановились в низине, поросшей кустами.

От низины начинался подъём на широкий бугор. Скат бугра был жёлтым пшеничным полем. С вершины слышалась частая стрельба, гулкие взрывы. Там шёл бой.

Миномётчики дружно сняли с грузовиков пусковые станки. Поставили на землю. Сгрузили эрэсы. Потасили их, тяжеленные, к станкам. Когда уехал последний грузовик, гвардейские миномёты были готовы к залпу.

Бой на бугре то затихал, судя по стрельбе, то снова разгорался. А что там было и как? Солнце видело, что и как. Оно поднялось совсем высоко.

Было жарко. Ни дуновения ветерка. Но вдруг пшеница у дальнего края поля заколыхалась. Будто там пронёсся ветер. Он дул, качал пшеницу сильнее и сильнее. Вглядевшись, Борис увидел нестройные линии пехотинцев. Это они, а не ветер, качали пшеницу, спускаясь с бугра всё ниже и ниже. «Отступают!» — догадался Борис и испугался своей догадки.

Пехотинцы отошли уже к середине поля, когда заревели огненные струи, вырываясь из эрэсов. Чертя дымные дуги, ракетные снаряды полетели за бугор. За бугром ухнуло — первый эрэс, самый быстрый, самый нетерпеливый, грохнулся на фашистов. Следом ухнул ещё один. И замолотило, заколотило по земле.

Пехотинцы остановились. Глядели в небо, удивлённые. Кто-то крикнул. Кто-то подбросил вверх пилотку. И все побежали на бугор, к его вершине, только что оставленной.

— Гвардейцы, за мной! — услышал Борис голос командира батареи. — Поможем ещё пехоте!

Не видя, кто рядом, но чувствуя товарищей, солдат Михайлов побежал, огибая кусты, перепрыгивая кочки. Он влетел в пшеницу, запутался в ней сапогами. Но скоро приноровился, раздвигал её, как купальщик воду. В эти минуты он забыл обо всём. Знал только, что надо бежать и бежать вперёд. И не было у него страха ни перед чем.

Когда Борис добежал до верхушки бугра, там пехотинцев не было. Они спускались по другому скату, преследуя врагов. Только один — молоденький, как Борис, — сидел на краю траншеи.

— Гвардейцы с нами... Гвардейцы с нами... — повторял он тихо.

Борис подумал, что солдата оставили передать им благодарность за помощь. Но вдруг понял, что солдат ранен, а слова «гвардейцы с нами» он кричал или шептал, когда пехота остановилась в пшенице и увидела над собой следы грозных эрэсов.

— Куда ранило? — спросил Борис. — Больно?

— В плечо. Больно! — ответил пехотинец.

Борис Михайлов никогда ещё не перевязывал раненых и удивился ловкости, с которой разрезал гимнастёрку и обнажил повреждённое плечо.

Он быстро разорвал индивидуальный пакет и прибинтовал марлевую подушечку к плечу солдата. Тут появилась девушка с санитарной сумкой. Она поправила повязку и повела солдата туда, где собирались раненые.

— Пойдём, миленький! Пойдём, хороший ты мой! — говорила она раненому.

...Дивизион двигался к новой стоянке, в рощу. Солнце клонилось к закату. Оно опять из-за пыльного облака смотрело вслед колонне. Не жаркое, не яркое, будто хвалило всех, кто одержал победу в бою за бугор, а по-военному — в бою за высоту.

На этот раз пушки врага не обстреливали дорогу.

Кругом было спокойно. Фашисты, бежав с высоты, бежали и с соседних участков.

Как приехали на место, Борис пошёл в штабную землянку к писарю — отдать письмо. Перед землянкой он остановился, развернул треугольничек, перечитал его:

«Милая мамочка! Я жив-здоров. Кормят сытно. Погода тёплая. Стоим в лесу. Обо мне не беспокойся. Мы сейчас отдыхаем. Крепко обнимаю и крепко-крепко целую. Твой Боря».

Борис всегда, с малых лет, говорил маме только правду. И, перечитав письмо, подумал, что надо переписать его. Но, если рассказать всё, что было за день, мама сильно встревожится, не успокоится до следующего письма. И он отдал треугольничек писарю — без поправок. Да и неправды в письме ведь не было. Они, гвардейцы, на самом деле отдыхали сейчас в лесу, и вечер был тёплый. А он, Борис, действительно жив и здоров.

Серьги для ослика

Морские пехотинцы держали оборону в горах. Одно отделение устроилось очень складно: заняло место среди отвесных скал. Снизу фашистам взобраться на эти скалы было почти невозможно. Правда, часто прилетал к скалам бомбардировщик, бросал бомбы. Но бойцы прятались в пещере. И бомбы не причиняли вреда, только дробили камень. Облако каменной пыли часами стояло над позицией отделения. Дышать каменной пылью было трудно, она скрипела на зубах, засоряла глаза. Но это — не самое тяжёлое на войне. Такое можно стерпеть и нужно было стерпеть. Ведь отделение под огнём своего оружия держало дорогу, по которой передвигались фашисты. И многих врагов настигала там гибель.

Хороша была позиция. Одно было там плохо — ни ручейка, ни родничка. А знойным летом, когда солнце раскаляет скалы так, что камень жжётся, пить ох как хочется! Воду бойцы ценили на вес золота. Да что золото! Если человек не жаден, не тщеславен, он прекрасно живёт без золота. А вот без воды прожить нельзя. Вода в скалах отмерялась строгой мерой. И только для питья. На умывание — ни капли.

Однако, по прошествии некоторого времени, наладилось и с водой. Как-то матрос Шалва Давижба, ходивший за продуктами в хозяйственную роту, увидел неподалёку от её расположения ослика. Ослик стоял в тени густого дерева, побрыкивал ногами, помахивал хвостом, встряхивал ушами — отгонял мух. Оказалось, что иного дела у него нет. Он ничей. Остался из-за войны без хозяина. Давижба привёл ослика к кухне и накормил так вкусно, так сытно, как ослику и не снилось. Потом навьючил на него два термоса с ключевой водой, на свою спину взвалил мешок с продуктами. И оба пошагали узкой тропинкой вверх, в скалы.

Всё отделение во главе с командиром обрадовалось появлению помощника. А Шалва Давижба сказал, что это ещё цветочки. Ягодки будут впереди. Надо только не поскупиться и накормить ослика в отделении не хуже, чем откусал он в хозяйственной роте. Загадочный совет Шалвы никто не понял, но моряки были щедрыми. И ослик, улёгшись в тени большого камня, всем видом показал, что ему тут нравится.

К вечеру, когда жара начала спадать, Шалва Давижба навьючил на ослика пустые термосы и повёл его вниз по тропинке — в хозяйственную роту. Там, хотя ноша на этот раз была пустяковой, ослик снова получил вкусную еду.

Всю ночь ослик пасся у ручья. А утром моряк опять навьючил на него воду, снова повёл в скалы... Это только так говорят, что ослы глупые. Во всяком случае тот ослик довольно скоро сообразил: за каждый рейс он получит немалое вознаграждение. И стал один, без провожатого, как самый исполнительный работник, носить воду в скалы и возвращаться с пустыми термосами в хозяйственную роту.

Моряки полюбили ослика. Назвали его Яша.

На войне всё переменчиво. Сегодня хорошо, а завтра вдруг и случится что-нибудь плохое. В один из дней пришёл Яша в скалы с окровавленной головой. Моряки быстро сняли с него поклажу. Прибежал санинструктор с медицинской сумкой. Оказалось, опасной раны нет. Прострелены навывлет винтовочной пулей оба уха. Из этих ранок и текла на голову кровь. Санинструктор забинтовал Яшины уши бинтами. Печальный лежал ослик у камня. Он ослаб от потери крови, и уши болели.

К вечеру, когда подошло время спускаться из скал в хозяйственную роту, Давижба принёс ослику еды — чтобы Яша остался на месте. Ослик поел немного, а потом подошёл к термосам и встал, ожидая, когда его навьючат.

— Ну, Яшка! — удивились и растрогались морские пехотинцы. — Ты и раненый не покидаешь поле боя!

— Что делать? — спросил Шалва Давижба у командира отделения. — Привязать его? Или пусть идёт?

— Пусть идёт, — сказал командир. — Но раньше пусть пойдёт на тропу Иван Рубахин. Это ведь немецкий снайпер стрелял в Яшу. Меткий стрелок, однако Яшу-то из-за камней на тропе не видно. Но в каком-то месте высунулись его уши. На минуту высунулись, а тот всё же успел их продырявить. Теперь фашист не успокоится, пока не застрелит осла.

Иван Рубахин был сибирский охотник. Он стрелял просто замечательно и умел подкрадываться к зверю так осторожно, что зверь о нём не догадывался. Наш снайпер обследовал тропу и защитную стенку, сложенную из камней вдоль тропы, и нашёл место, где высунулись Яшины уши. После этого в бинокль осмотрел горы и определил, откуда мог стрелять, где прятался вражеский снайпер.

Три места показались подозрительными. Иван Рубахин приготовился к поединку. Солнце светило нашему моряку в затылок, врагу — в лицо. Как только враг приложится к своей винтовке, стёклышко её оптического прицела блеснёт под солнечным лучом. Этим враг и выдаст себя.

Иван Рубахин слушал, как стучат по камням копытца Яши. Вот они простучали за его спиной. Через секунду-две ослик окажется у опасного места. Часть его головы будет видна немцу. Секунда прошла. Вдали, в низком кустике блеснуло на солнце стекло. Рубахин нажал на спусковой крючок...

Выстрел не испугал ослика. Но он остановился как бы в недоумении. Насторожил уши в белых бинтах. Иван Рубахин поднялся во весь рост, подошёл к ослику, потрепал по шее:

Иван Рубахин слушал, как стучат по камням копытца Яши. Вот они простучали за его спиной. Через секунду-две ослик окажется у опасного места. Часть его головы будет видна немцу. Секунда прошла. Вдали, в низком кустике блеснуло на солнце стекло. Рубахин нажал на спусковой крючок...

Выстрел не испугал ослика. Но он остановился как бы в недоумении. Насторожил уши в белых бинтах. Иван Рубахин поднялся во весь рост, подошёл к ослику, потрепал по шее:

— Ну, друг, иди спокойно. Он больше стрелять не будет...

Яшины уши зажили, освободились от бинтов. Но остались в них дырочки. Однажды кто-то украсил Яшины уши ромашками, вставил в дырки по цветку.

Морские пехотинцы шутили:

— Яша у нас — модница. Уши нарочно подставил под выстрел, — чтобы дырки были, куда серьги вешать.

— А что, морячки, не раздобыть ли для Яши украшения подороже?

— Неужели морская пехота не отблагодарит Яшу, как надо?

— Морская пехота должником не была и не будет. Жди, Яша, подарок.

После таких разговоров прошло немного времени, и моряки выполнили обещание.

У фашистов были специальные войска — горные егеря. Они поднимались на скалы, спускались в пропасти, ходили по ледникам, как настоящие альпинисты. И вот два горных егеря, два фашиста-альпиниста, начали подниматься по совершенно отвесной скале, чтобы забросать наших бойцов гранатами. Враги не знали, что моряки уже обнаружили их, следят за ними. Они всё карабкались вверх. Когда оба егеря висели на верёвке высоко над пропастью, Иван Рубахин показался из-за камней со снайперской винтовкой и приказал по-немецки:

— Оружие бросить в пропасть. Самим продолжать подъём.

Егеря исполнили приказ беспрекословно.

Оба пленника имели железные кресты — фашистские ордена. Пленных отвели в штаб полка. А из железных крестов моряки сделали серьги для ослика.

Яша носил трофейные украшения до нашей победы в горах. Были и другие ослики в других подразделениях. А самой большой известностью пользовался Яша.

Длинное ружье

Глеб Ермолаев пошёл на войну добровольцем. По своей доброй воле он подал заявление в военкомат и просил поскорее отправить его на фронт — сражаться с фашистами. Глебу не было восемнадцати лет. Он мог бы пожить ещё дома, полгода или годик, — с мамой и сёстрами. Но фашисты наступали, а наши войска отступали; в такое опасное время, считал Глеб, нельзя медлить, надо идти на войну.

Как все молодые солдаты, Глеб хотел попасть в разведку. Он мечтал пробираться в тыл врага, брать там «языков». Однако в стрелковом взводе, куда он прибыл с пополнением, ему сказали, что будет он бронбойщиком. Глеб надеялся получить пистолет, кинжал, компас и бинокль — снаряжение разведчика, а ему дали ПТР — противотанковое ружьё — тяжёлое, длинное, нескладное.

Солдат был молод, но понимал, как это плохо, если не любишь вверенное оружие. Глеб пошёл к командиру взвода, к лейтенанту с не очень хорошей фамилией Кривоzub, и всё рассказал начистоту.

Лейтенант Кривоzub был старше солдата всего на три года. Волосы у него были чёрные, кудрявые, лицо смуглое, а рот полон белых, ровных зубов.

— Так, значит, в разведку? — переспросил лейтенант и, улыбнувшись, показал свои прекрасные зубы. — Я сам о разведке думаю. Давай переименуем стрелковый взвод в разведвзвод и все махнём в тыл к фашистам. Я, — сказал Кривоzub шёпотом, — давно бы это сделал, да вот никак не могу сообразить, кто вместо нас будет оборонять этот участок. Ты, случайно, не знаешь?

— Не знаю, — тоже шёпотом ответил Глеб. Он обиделся на лейтенанта за такой разговор и покраснел от обиды.

— Смелые люди нужны не только в разведке, — сказал лейтенант, помолчав. — Нелёгкое дело досталось тебе, солдат Ермолаев. Ох, какое нелёгкое! Ты со своим ПТРом будешь сидеть в самом переднем окопе. И ты непременно подобьёшь танк врага. Иначе он подойдёт к траншее, где обороняется взвод, и всех передавит гусеницами. Пока у нас тихо, с вами, новичками, займётся опытный бронейщик. Потом помощника получишь. Ты — первый номер в расчёте, он будет вторым. Иди...

На том участке фронта в то время действительно было тихо. Где-то земля сотрясалась от взрывов, где-то гибли люди, а здесь, на ровном сухом лугу, заключённом между двумя рошицами, только кузнечики стрекотали. С настырным усердием извлекали они из своих сухоньких телец однообразные звуки — без передышки, без остановки. Не ведали кузнечики, какой смерч пронесётся над лугом, не знали, как горяча и туга взрывная волна. Если бы ведали, если бы знали, поспешили бы высокими прыжками — через кусты полины, над кочками — подальше от этих мест.

Солдат Глеб Ермолаев кузнечиков не слышал. Он усердно работал лопатой — рыл свой окоп.

Место для окопа было уже выбрано командиром. Отдыхая, когда слабели руки, Глеб старался представить, где пойдёт танк фашистов. Получалось, что танк пойдёт там, где и предполагал командир, — по ложбине, что тянулась через весь луг слева от окопа. Танк, как и человек, тоже старается укрыться в каком-либо углублении — чтобы труднее было попасть в него. А стрелять в танк будут наши пушки, замаскированные в рошицах. Окоп в стороне от ложбины. Когда танк будет на одной линии с окопом, солдат Ермолаев вцепит ему в бок бронейно-зажигательную пулю. На таком расстоянии промахнуться трудно. Пуля пробьёт броню, влетит в танк, попадёт в бак с бензином, или в снаряд, или в мотор — и дело сделано.

Но что если танков окажется два или три? Что тогда?

Представить, как он будет воевать с тремя танками, Глеб не мог. Но не мог он допустить в своих мыслях, что вражеские машины пройдут к траншее. «Пушки подобьют», — успокаивал он себя и, успокоенный, снова принимался долбить лопатой закаменевшую глину.

К вечеру окоп был готов. Глубокий настолько, что в нём можно было стоять во весь рост, он понравился Глебу. Глеб поверил в надёжность укрытия и ещё целый час хлопотал, благоустроивал его. В боковой стенке выкопал нишу для патронов. Ещё выкопал ямку для фляги с водой. Несколько раз уносил в плащпалатке глину — подальше от окопа, чтобы коричневое пятно не выдало врагам его убежище. С этой же целью утыкал ветками полины насыпь перед окопом.

Второй номер — помощник, обещанный лейтенантом, пришёл к Глебу только в сумерках. Вместе со взводом он тоже занимался земляными работами — солдаты углубляли траншею, копали ходы сообщения.

Второй номер был втрое старше Глеба. На его небритом лице сияли лукавством голубые глазки. Красноватый носик торчал шильцем. Губы были вытянуты вперёд, словно постоянно дули в невидимую дудочку. Ростом он был мал. Совсем короткими показались Глебу его ноги — в башмаках и обмотках. Нет, не такого товарища ждал бронейщик Ермолаев. Ждал опытного бойца, которому с почтением и радостью подчинился бы, которого слушался бы во всём. И первый раз за всю неделю, что был на передовой, Глеб встревожился. Стало ему тоскливо, появилось предчувствие чего-то нехорошего, непоправимого.

— Семён Семёнович Семёнов, — назвал себя второй номер.

Он сел на край окопа, ноги опустил вниз и постучал каблуками о глинистую стенку.

— Крепкая земля. Не обвалится, — сказал понимающе. — Но очень глубоко. Мне из этого окопа только небо будет видно, а мы ведь не по самолётам должны стрелять — по танкам. Перестарался ты, Ермолай Глебов.

— Я по своему росту копал. А зовут меня Глеб Ермолаев. Вы фамилию и имя перепутали.

— Перепутал, — очень охотно согласился второй номер. — А моё прозвание очень удобное. Заменяй фамилию отчеством, отчество именем — всё равно будет правильно.

Семён Семёнович посмотрел вдаль, туда, где у конца луга серой неясной полоской виднелась просёлочная дорога, и проговорил:

— Длинное у тебя ружьё, а надо бы ещё длиннее. Чтобы достало через луг до дороги. Танки-то оттуда пойдут... Или ствол согнуть — буквой Г. Присел в окопчике — и стреляй в безопасности... Однако, — тут голос Семёна Семёновича стал строгим, — сделал ты, Глеб Ермолаев, ещё одну ошибку — выкопал окоп на одного. Мне на лугу, что ли, лежать? Без укрытия? Чтобы меня в первую минуту убили?

Глеб покраснел, как в разговоре о разведке с лейтенантом Кривоzubом.

— То-то! Ты — первый номер, командир. Я — второй номер, подчинённый. А мне приходится учить тебя. Ну ладно, — закончил Семён Семёнович великодушно, — завтра и мне ямку прикопаем. Не велика работа. Я сам-то не велик...

Последние слова растрогали Глеба. Ночью он долго не мог заснуть. Через шинель, постеленную на земле, кололи то ли камешки, то ли жёсткие корешки. Он поворачивался, чтобы было удобнее, слушал, как ходит часовой вдоль траншеи, и думал о Семёне Семёновиче. «Он, верно, добрый человек. Они, верно, подружатся. А окоп Глеб сам доделает. Пусть Семён Семёнович отдыхает. Он и стар. Он и мал. Ему на войне вот как тяжело!»

Прикопать окоп не удалось. На рассвете заухали взрывы.

На рощицы пикировали самолёты и сбрасывали бомбы. Страшнее взрывов был вой пикировщиков. Чем ниже скользил самолёт к земле, тем невыносимее становился рёв его моторов и сирен. Казалось, что с этим душераздирающим воплем самолёт врежется в землю и она разлетится, словно стеклянная. Но самолёт над самой землёй выходил из пике, круто лез в небо. И земля не разлеталась, как стеклянная, она вздрагивала, на ней вздувались чёрные волны комков и пыли. На гребнях тех волн качались и кувыркались берёзы, вырванные с корнем.

Прикопать окоп не удалось. На рассвете заухали взрывы.

На рощицы пикировали самолёты и сбрасывали бомбы. Страшнее взрывов был вой пикировщиков. Чем ниже скользил самолёт к земле, тем невыносимее становился рёв его моторов и сирен. Казалось, что с этим душераздирающим воплем самолёт врежется в землю и она разлетится, словно стеклянная. Но самолёт над самой землёй выходил из пике, круто лез в небо. И земля не разлеталась, как стеклянная, она вздрагивала, на ней вздувались чёрные волны комков и пыли. На гребнях тех волн качались и кувыркались берёзы, вырванные с корнем.

— По местам! По местам! — кричал лейтенант Кривоzub. Он стоял у траншеи, смотрел в небо, стараясь определить, будут ли фашисты бомбить взвод, или сбросят все бомбы на тех, кто занимал оборону по опушкам рожиц.

Самолёты улетели. Лейтенант повернулся, оглядел солдат, притихших на своих местах. Прямо перед собой он увидел Глеба с противотанковым ружьём и Семёна Семёновича.

— Ну, вы что? Идите! — сказал он негромко. — Сейчас будет атака...

— Я один. Второму номеру остаться в траншее! — выкрикнул Глеб, вылезая на бруствер. И добавил, объясняя своё решение: — У нас окоп только на одного...

Глеб тревожился, что не успеет подготовиться к отражению атаки. Он спешно расставил сошки противотанкового ружья, зарядил ружьё, поправил полынные веточки перед окопом — чтобы не мешали смотреть и стрелять, снял с ремня флягу, положил в ямку...

А врагов всё не было. Тогда он посмотрел назад, на траншею взвода, и не увидел её — то ли она была так ловко замаскирована, то ли была очень далеко. Глебу стало тоскливо. Ему показалось, что он один-одинёшенек на этом голом лугу и все забыли о нём — и лейтенант Кривоzub, и Семён Семёнович. Захотелось сбегать проверить — на месте ли взвод? Желание это было такое сильное, что он начал выбираться из окопа. Но тут — и близко, и далеко — стали с грозным треском лопаться мины. Фашисты обстреливали позицию взвода. Глеб пригнулся в своём окопе, слушал взрывы и думал — как выглянуть из окопа, чтобы осмотреться? Высунешь голову — осколком убьёт! И нельзя не выглянуть — может, враги уже совсем близко...

И он выглянул. По лугу катился танк. Позади редкой цепью, пригибаясь, бежали автоматчики.

Самое неожиданное и потому очень страшное было то, что танк двигался не по ложбине, как предполагал лейтенант, не в стороне от окопа, а прямо на окоп бронейщика. Лейтенант Кривоzub рассуждал правильно: танк поехал бы по ложбине, если бы в него стреляли из рожиц пушки. Но наши пушки не стреляли, они погибли под бомбёжкой. И фашисты, остерегаясь, что ложбина заминирована, пошли напрямую. Глеб Ермолаев готовился стрелять в борт фашистского танка, где броня тонкая, а приходилось теперь стрелять в лобовую броню, которую и не каждый снаряд возьмёт.

Танк приближался, гремя гусеницами, покачиваясь, будто кланяясь. Позабыв об автоматчиках, бронейщик Ермолаев втиснул приклад ружья в плечо, прицелился в смотровую щель водителя. И тут сзади длинной очередью вдруг ударил пулемёт. Пули засвистели рядом с Глебом. Не успев ни о чём подумать, он выпустил ПТР из рук и присел в окопе. Он испугался, что свой пулемётчик зацепит его. А когда Глеб сообразил, что пулемётчик и стрелки взвода бьют по фашистским автоматчикам, чтобы не подпустить их к Глебову окопу, что они прекрасно знают, где его окоп, стрелять по танку было уже поздно. В окопе стало темно, как ночью, дохнуло жарой. Танк наехал на окоп. Грохоча, крутился на месте. Зарывал в землю бронейщика Ермолаева.

Как из глубокой воды, Глеб рванулся из своего засыпанного окопа. То, что спасён, солдат понял, вдохнув воздух сквозь забитый землёй рот. Он тут же открыл глаза и увидел в синем бензиновом дыму корму уходящего танка. И ещё увидел своё ружьё. Оно лежало полузасыпанное, прикладом к Глебу, стволом в сторону танка. Верно, ПТР попало между гусеницами, крутилось вместе с танком над окопом. В эти тяжкие минуты и стал Глеб Ермолаев настоящим солдатом. Он рванул к себе ПТР, прицелился, выстрелил с обиды за свою оплошность, испуская вину перед взводом.

Танк задымил. Дым шёл не из выхлопных труб, а из туловища танка, находя для выхода щели. Потом вырвались с боков и из кормы плотные, чёрные клубы, перевитые лентами огня. «Подбил!» — ещё не веря в полную удачу, сказал Глеб самому себе. И поправил себя: «Не подбил. Поджёл».

Танк задымил. Дым шёл не из выхлопных труб, а из туловища танка, находя для выхода щели. Потом вырвались с боков и из кормы плотные, чёрные клубы, перевитые лентами огня. «Подбил!» — ещё не веря в полную удачу, сказал Глеб самому себе. И поправил себя: «Не подбил. Поджёл».

За тучей чёрного дыма, стелившегося по лугу, ничего не было видно. Только слышалась стрельба: солдаты взвода довершали схватку с вражеским танком. Вскоре из дыма выскочил лейтенант Кривозуб. Он бежал с автоматом к ложбине, где укрылись после гибели танка вражеские автоматчики. За командиром бежали солдаты.

Глеб не знал, что делать ему. Тоже бежать к ложбине? С противотанковым ружьём не очень-то побежишь, вещь тяжёлая. Да и бежать он не мог. Он так устал, что ноги еле держали его. Глеб сел на бруствер своего окопа.

Последним из дымовой завесы выбежал маленький солдатик. Это был Семён Семёнович. Он долго не мог вскарабкаться на насыпь перед траншеей и отстал. Семён Семёнович заметался на лугу — рванул к ложбине за всеми, потом метнулся в сторону Глеба, увидев его, сидящего на земле. Подумал, что первый номер бронбойного расчёта ранен, нуждается в перевязке, и побежал к нему.

— Не ранен? Нет? — спросил Семён Семёнович и успокоился. — Ну, Ермолай Глебов, крепко ты его ударил...

— Да не Ермолай я, — сказал Глеб с досадой. — Когда же вы запомните это?

— Всё я помню, Глеб! Так это я говорю от неловкости. Мы же вдвоём должны были бить его. А ты, видишь, в траншее меня оставил...

— И правильно, окоп-то был на одного.

— Правильно, да не очень. Вдвоём-то повеселее было бы...

Глебу от этих слов и от всего, что произошло, стало так хорошо, что он чуть не заплакал.

— Эх, Семён Семёнович, — сказал он, и голос его задрожал. — Насидимся мы ещё вдвоём. И танков вдвоём настреляем. А этот, наш первый, близко к траншее подошёл?

— Близко. Фашисты из него выскакивали прямо к нам на винтовки.

...Минуло ещё несколько тревожных дней — с бомбёжками, с артиллерийским и миномётным обстрелом, а потом всё стихло. Наступление фашистам не удалось. В тихие дни Глеба Ермолаева вызвали в штаб полка. Лейтенант Кривозуб рассказал, как идти туда.

В штабе полка, в овраге, заросшем густыми кустами, собралось много народу. Оказалось, это были бойцы и командиры, отличившиеся в недавних боях. От них Глеб узнал, что происходило справа и слева от его взвода: фашисты наступали полосой в несколько километров и нигде им не удалось прорвать нашу оборону.

Из штабной землянки, вырытой в склоне оврага, вышел командир полка. Храбрецы уже стояли ровным строем. Их вызывали по списку, они по очереди выходили и получали награды.

Выкликнули Глеба Ермолаева.

Полковник, человек строгий, но, судя по глазам, и весёлый, увидев перед собой совсем молодого солдата, подошёл к Глебу и спросил, как отец спрашивает сына:

— Страшно было?

— Страшно, — ответил Глеб. — Струсил я.

— Это он-то струсил! — закричал вдруг задорным голосом полковник. — На нём танк фокстрот танцевал, а он танцы перетерпел и изуродовал немцам машину, как бог черепаху. Нет, ты скажи прямо, не скромничай — не боялся ведь?

— Струсил, — снова сказал Глеб. — Я танк случайно подбил.

— Вот, слышите? — закричал полковник. — Вот молодец! Да кто бы тебе поверил, если бы сказал — не трусил. Как же не бояться, когда на тебя одного такая штука лезет! Но насчёт случайности ты, сынок, ошибаешься. Подбил ты его закономерно. Ты в себе страх переборол. Загнал свой страх в башмаки под пятки. Тогда уж и целился смело и смело стрелял. За подвиг тебе полагается орден Красной Звезды. Дырочку на гимнастёрке что же не проткнул? Имей в виду, как ещё танк сожжёшь, так протыкай дырку — будет ещё орден.

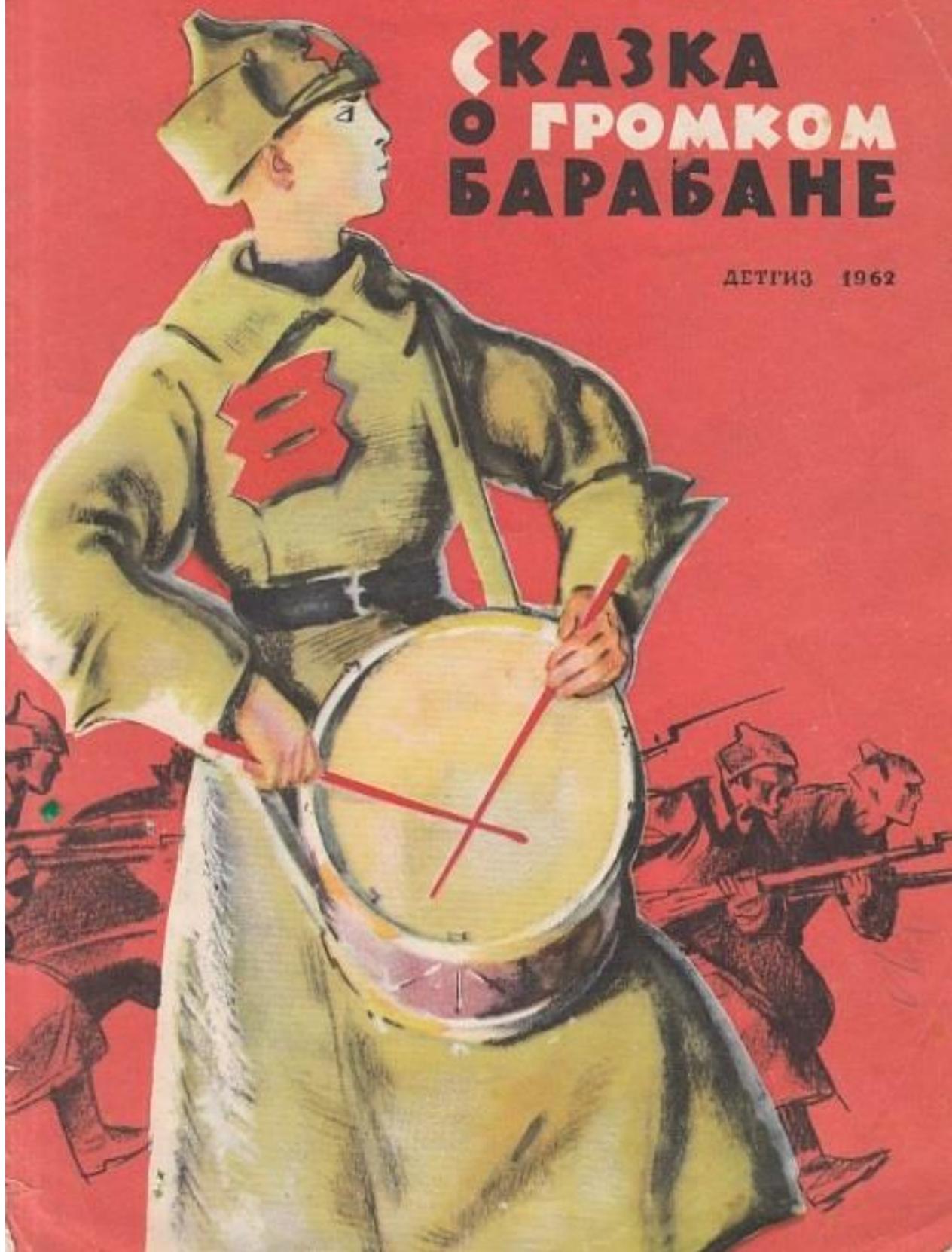
Глеб Ермолаев был в смущении от похвалы командира. Однако, получив коробочку с орденом, не забыл сказать:

— Служу Советскому Союзу!

С. МОГИЛЕВСКАЯ

**СКАЗКА
О ГРОМКОМ
БАРАБАНЕ**

ДЕТГИЗ 1962



Могилевская Софья Абрамовна «Сказка о громком барабане»

Барабан висел на стене между окнами, как раз напротив кровати, где спал мальчик.

Это был старый военный барабан, сильно потёртый с боков, но ещё крепкий. Кожа на нём была туго натянута, а палочек не было. И барабан всегда молчал, никто не слышал его голоса.

Однажды вечером, когда мальчик лёг спать, в комнату вошли дедушка и бабушка. В руках они несли круглый свёрток в коричневой бумаге.

- Спит, - сказала бабушка.

- Ну, куда нам это повесить? - сказал дедушка, показывая на свёрток.

- Над кроватью, над его кроватью, - зашептала бабушка.

Но дедушка посмотрел на старый военный барабан и сказал:

- Нет. Мы повесим его под барабаном нашего Ларика. Это хорошее место.

Они развернули свёрток. И что же? В нём оказался новый жёлтый барабанчик с двумя деревянными палочками.

Дедушка повесил его под большим барабаном, они полюбовались им, а потом ушли из комнаты...

И тут мальчик открыл глаза.

Он открыл глаза и засмеялся, потому что вовсе не спал, а притворялся.

Он спрыгнул с кровати, босиком побежал туда, где висел новый жёлтый барабанчик, придвинул стул поближе к стене, вскарабкался на него и взял в руки барабанные палочки.

Сначала он тихонько ударил по барабанчику лишь одной палочкой. И барабанчик весело откликнулся: трам-там!

Тогда он ударил и второй палочкой. Барабанчик ответил ещё веселее: трам-там-там!

Что за славный был барабан!

И вдруг мальчик поднял глаза на большой военный барабан. Раньше, когда у него не было этих крепких деревянных палочек, он даже со стула не мог дотронуться до большого барабана. А теперь?

Мальчик встал на цыпочки, потянулся вверх и крепко ударил палочкой по большому барабану. И барабан прогудел ему в ответ тихо и печально...

Это было очень-очень давно. Тогда бабушка была ещё маленькой девочкой с толстыми косичками.

И был у бабушки брат. Его звали Ларик. Это был весёлый, красивый и смелый мальчик. Он лучше всех играл в городки, быстрее всех бегал на коньках, и учился он тоже лучше всех.

Ранней весной рабочие того города, где жил Ларик, стали собирать отряд, чтобы идти бороться за Советскую власть.

Ларику тогда было тринадцать лет.

Он пошёл к командиру отряда и сказал ему:

- Запишите меня в отряд. Я тоже пойду драться с белыми.

- А сколько тебе лет? - спросил командир.

- Пятнадцать! - не моргнув ответил Ларик.

- Будто? - спросил командир. И повторил снова: - Будто?

- Да, - сказал Ларик.

Но командир покачал головой:

- Нет, нельзя, ты слишком молод...

И Ларик должен был уйти ни с чем. И вдруг возле окна, на стуле, он увидел новый военный барабан. Барабан был красивый, с блестящим медным ободком, с туго натянутой кожей. Две деревянные палочки лежали рядом.

Ларик остановился, посмотрел на барабан и сказал:

- Я могу играть на барабане...

- Неужели? - обрадовался командир. - А попробуй-ка!

Ларик перекинул барабанные ремни через плечо, взял в руки палочки и ударил одной из них по тугому верху. Палочка отскочила, будто пружинная, а барабан ответил весёлым баском:

- Бум!

Ларик ударил другой палочкой.

- Бум! - снова ответил барабан,

И уж тогда Ларик стал барабанить двумя палочками.

Ух, как они заплясали у него в руках! Они просто не знали удержу, они просто не могли остановиться. Они отбивали такую дробь, что хотелось встать, выпрямиться и шагать вперёд!

Раз-два! Раз-два! Раз-два!

И Ларик остался в отряде.

На следующее утро отряд уезжал из города. Когда поезд тронулся, из открытых дверей теплушки раздалась весёлая песенка Ларика:

Бам-бара-бам-бам,

Бам-бам-бам!

Впереди всех барабан,

Командир и барабанщик.

Ларик и барабан сразу стали товарищами. По утрам они просыпались раньше всех.

- Здорово, приятель! - говорил Ларик своему барабану и легонько шлёпал его ладонью.

Здо-ро-во! - гудел в ответ барабан. И они принимались за работу.

В отряде не было даже горна. Ларик с барабаном были единственными музыкантами. По утрам они играли побудку:

Бам-бара-бам,

Бам-бам-бам!

С добрым утром,

Бам-бара-бам!

Это была славная утренняя песня!

Когда отряд шёл походным маршем, у них была припасена другая песня. Руки Ларика никогда не уставали, и голос барабана не умолкал всю дорогу. Бойцам было легче шагать по топким осенним дорогам. Подпевая своему барабану, они шли от привала к привалу, от привала к привалу...

И вечером на привалах барабану тоже находилась работа. Только ему одному, конечно, справиться было трудно.

Он только начинал:

Эх! Бам-бара-бам,

Бам-бара-бам!

Веселей всех

Барабан!

Сразу же подхватывали деревянные ложки:

И мы тоже ловко бьём,

Бим-бири-бом,

Бим-бири-бом!

Потом вступали четыре гребешка:

Не отстанем мы от вас,

Бимс-бамс, бимс-бамс!

И уже последние начинали губные гармошки.

Вот это было веселье! Такой замечательный оркестр можно было слушать хоть всю ночь.

Но была у барабана и Ларика ещё одна песня. И эта песня была самая громкая и самая нужная. Где бы ни были бойцы, они сразу узнавали голос своего барабана из тысячи других барабанных голосов. Да, если нужно было, Ларик умел бить тревогу...

Прошла зима. Снова наступила весна. Ларику шёл уже пятнадцатый год.

Красногвардейский отряд снова вернулся в тот город, где вырос Ларик. Красногвардейцы шли разведчиками впереди большой сильной армии, и враг убегал, прячась, скрываясь, нанося удары из-за угла.

Отряд подошёл к городу поздно вечером. Было темно, и командир приказал остановиться на ночлег возле леса, недалеко от полотна железной дороги.

- Целый год я не видал отца, матери и младшей сестрёнки, - сказал Ларик командиру. - Я даже не знаю, живы ли они. Можно их навестить? Они живут за тем леском.

- Что ж, иди, - сказал командир.

И Ларик пошёл.

Он шёл и чуть слышно насвистывал. Под ногами в мелких весенних лужицах булькала вода. Было светло от луны. За спиной у Ларика висел его боевой товарищ - военный барабан.

Узнают ли его дома? Нет, младшая сестрёнка, конечно, не узнает. Он нащупал в кармане два розовых пряника. Этот гостинец он давно припас для неё...

Он подошёл к опушке. Как здесь было хорошо! Лес стоял тихий-тихий, весь посеребрённый лунным светом.

Ларик остановился. От высокой ели падала тень. Ларик стоял, укрытый этой чёрной тенью.

Вдруг тихо щёлкнула сухая ветка.

Одна справа. Другая слева. За спиной...

На опушку вышли люди. Их было много. Они шли длинной цепью. Винтовки наперевес. Двое остановились почти рядом с Лариком. На плечах белогвардейские погоны. Один офицер сказал другому очень тихо:

- Часть солдат идёт со стороны леса. Другая - вдоль железнодорожной линии. Остальные заходят с тыла.

- Мы замкнём их в кольцо и уничтожим, - сказал второй.

И, крадучись, они прошли мимо.

Это были враги.

Ларик глубоко вздохнул. Он стоял в тени. Его не заметили.

Ларик потёр ладонью горячий лоб. Всё понятно. Значит, часть солдат идёт из леса. Другие заходят с тыла. Часть - вдоль полотна железной дороги...

Белые хотят замкнуть их отряд в кольцо и уничтожить.

Нужно бежать туда, к своим, к красным. Нужно предупредить, и как можно скорее.

Но разве он успеет? Они могут опередить его. Они могут поймать его по дороге...

И Ларик повернул к себе свой боевой барабан, вынул из-за ремня деревянные палочки и, широко взмахнув руками, ударил по барабану.

Тревога!

Это прозвучало, как выстрел, как тысяча коротких ружейных залпов.

Тревога!

Весь лес откликнулся, загудел, забарабанил громким эхом, будто возле каждого дерева стоял маленький смелый барабанщик и бил в боевой барабан.

Ларик стоял под елью и видел, как к нему со всех сторон устремились враги. Но он не двинулся с места. Он только колотил, колотил, колотил в барабан. Это была их последняя песня - песня боевой тревоги.

И только когда что-то ударило Ларика в висок, и он упал, барабанные палочки сами выпали у него из рук...

Ларик уже не мог видеть, как навстречу врагу с винтовками наперевес устремились красные бойцы и как побеждённый враг бежал и со стороны леса, и со стороны города, и оттуда, где блестели тонкие линии железнодорожного полотна.

Утром в лесу снова стало тихо. Деревья, стряхивая капли влаги, поднимали к солнцу прозрачные верхушки, и только у старой ели широкие ветви лежали совсем на земле.

Бойцы принесли Ларика домой. Глаза его были закрыты.

Барабан был с ним. Только палочки остались в лесу, там, где они выпали у Ларика из рук.
И барабан повесили на стену.

Он прогудел последний раз - громко и печально, будто прощаясь со своим славным боевым товарищем.

Вот что рассказал мальчику старый боевой барабан.

Мальчик тихонько слез со стула и на цыпочках вернулся в постель.

Он долго лежал с открытыми глазами, и ему казалось, будто он идёт по широкой красивой улице и крепко колотит в свой новый жёлтый барабанчик. Голос у барабанчика громкий, смелый, и они вместе поют любимую песенку Ларика:

Бам бара-бам,

Бам бара-бам!

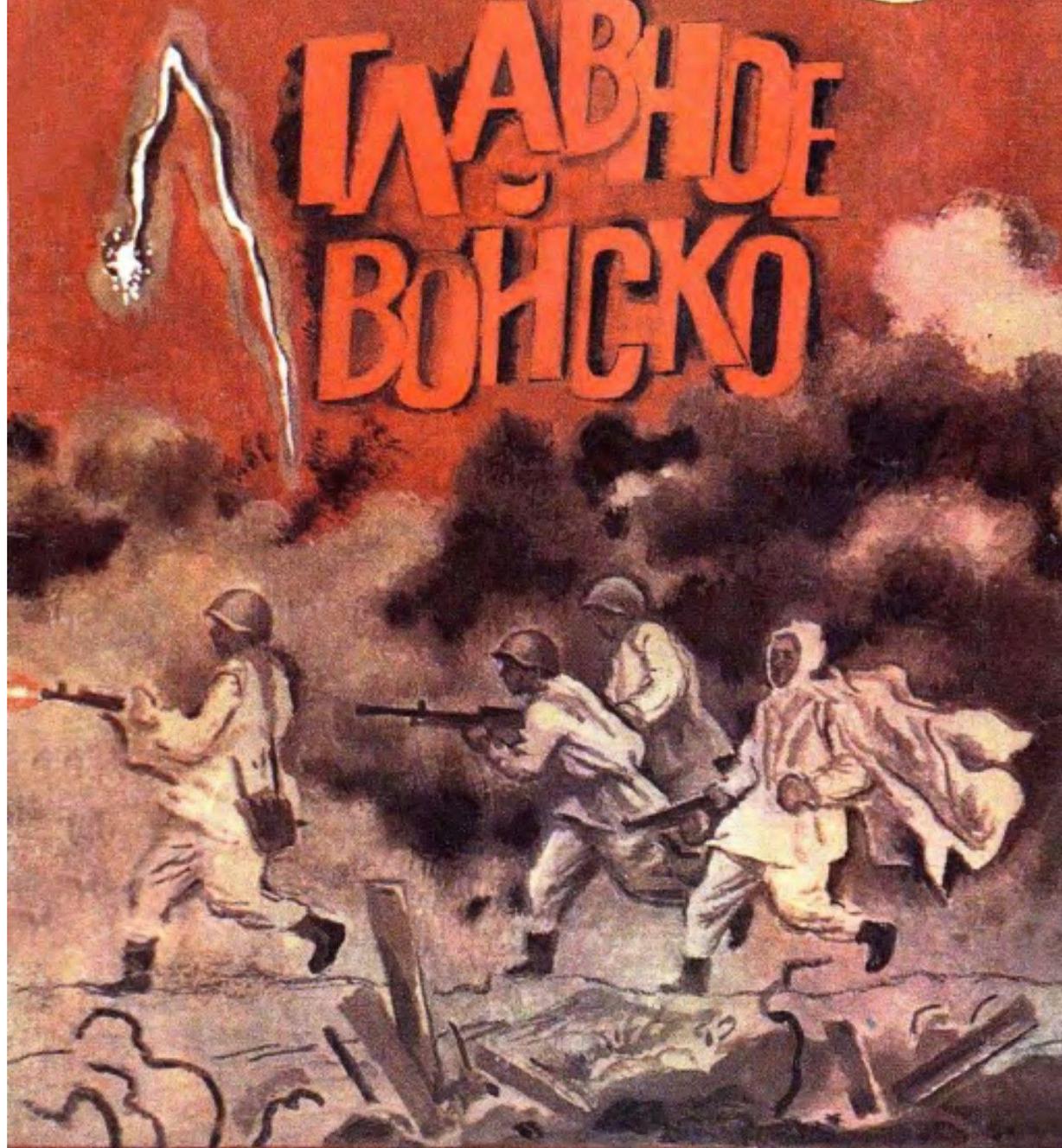
Впереди всех барабан,

Командир и барабанщик.

ЛЕВ КАСИЛЬ



ГЛАВНОЕ ВОЙСКО



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Лев Кассиль «ГЛАВНОЕ ВОЙСКО»

Рассказы

«ВОЗДУХ!»

Бывало так. Ночь. Спят люди. Тихо кругом. Но враг не спит. Высоко в чёрном небе летят фашистские самолёты. Они хотят бросить бомбы на наши дома. Но вокруг города, в лесу и в поле, притаились наши защитники. День и ночь они на страже. Птица пролетит — и ту услышат. Звезда упадёт — и её заметят.

Припали защитники города к слуховым трубам. Слышат — урчат в вышине моторы. Не наши моторы. Фашистские. И сразу звонок начальнику противовоздушной защиты города:

— Враг летит! Будьте готовы!

Сейчас же на всех улицах города и во всех домах громко заговорило радио:

«Граждане, воздушная тревога!»

В ту же минуту раздаётся команда:

— Воздух!

И заводят моторы своих самолётов лётчики-истребители.

— Воздух!

И зажигаются дальноточные прожектора. Враг хотел незаметно пробраться. Не вышло. Его уже ждут. Защитники города на местах.

— Дай луч!

И по всему небу загуляли лучи прожекторов.

— По фашистским самолётам огонь!

И сотни жёлтых звёздочек запрыгали в небе. Это ударила зенитная артиллерия. Высоко вверх бьют зенитные пушки.

«Вон где враг, бейте его!» — говорят прожектористы. И прямые светлые лучи гонятся за фашистскими самолётами. Вот сошлись лучи — запутался в них самолёт, как муха в паутине. Теперь его всем видно. Прицелились зенитчики.

— Огонь! Огонь! Ещё раз огонь! — И снаряд зенитки попал врагу в самый мотор.

Повалил чёрный дым из самолёта. И рухнул на землю фашистский самолёт. Не удалось ему пробраться к городу.

Долго ещё потом ходят по небу лучи прожекторов. И слушают небо своими трубами защитники города. И стоят у пушек зенитчики. Но тихо всё кругом. Никого не осталось в небе.

«Угроза воздушного нападения миновала. Отбой!»

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Приказ: не пропускать фашистов на дорогу! Чтобы ни один не прошёл. Важная это дорога. Гонят по ней на машинах снаряды для боя. Походные кухни обед бойцам подвозят. И тех, кто в бою ранен, отправляют по этой дороге в госпиталь.

Нельзя на эту дорогу врага пускать!

Стали наступать фашисты. Много их собралось. А у наших здесь только одна пушка, и всего-то наших четверо. Четыре артиллериста. Один снаряды подносит, другой орудие заряжает, третий целится. А командир всем управляет: куда стрелять, говорит, и как пушку наводить. Решили артиллеристы: «Умрём, а не пропустим врага».

— Сдавайся, русские! — кричат фашисты. — Нас много, а вас только четверо. В два счёта всех перебьём!

Отвечают артиллеристы:

— Ничего. Много вас, да толку мало. А у нас в каждом снаряде по четыре ваших смерти сидит. На всех вас хватит!

Рассердились фашисты и бросились на наших. А наши артиллеристы выкатили на удобное место свою лёгкую пушку и ждут, чтобы фашисты ближе подошли.

Есть у нас пушки тяжёлые, огромные. В длинное дуло телеграфный столб влезет. На тридцать километров бьёт такая пушка. Её только трактор с места сvezёт. А здесь у наших — лёгкое полевое орудие. Его вчетвером повернуть можно.

Выкатили свою лёгкую пушку артиллеристы, а фашисты прямо на них бегут. Ругаются, сдаваться велят.

— А ну, товарищи, — скомандовал командир, — по наступающим фашистам прямой наводкой — огонь!

Навели артиллеристы дуло пушки прямо на врагов.

Вылетел из дула огонь, и меткий снаряд уложил сразу четырёх фашистов. Недаром говорил командир: в каждом снаряде по четыре смерти сидит.

Но фашисты всё лезут и лезут. Отбиваются четыре артиллериста.

Один снаряды подносит, другой заряжает, третий целится. Командир боем управляет: говорит, куда бить.

Упал один артиллерист: убила его фашистская пуля. Упал другой — раненный. Остались у пушки двое. Боец снаряды подносит, заряжает. Командир сам целится, сам по врагу огонь ведёт.

Остановились фашисты, стали назад отползать.

А тут к нашим подмога пришла. Ещё пушек привезли. Так отогнали артиллеристы врага от важной дороги.

САПЁРЫ

Речка. Через речку мост.

Решили по этому мосту фашисты свои танки и грузовики перевезти. Узнали про то наши разведчики, и командир послал к мосту двух отважных бойцов-сапёров.

Сапёры — умелый народ. Дорогу проложить — зови сапёров. Мост построить — посылай сапёров. Взорвать мост — опять сапёры нужны.

Залезли сапёры под мост, заложили мину. Полна мина взрывчатки. Только брось туда искру — и страшная сила родится в мине. От этой силы земля дрожит, дома рушатся.

Положили сапёры мину под мост, вставили проволоку, а сами незаметно уползли и спрятались за бугром. Размотали проволоку. Один конец под мостом, в мине, другой — в руках у сапёров, в электрической машинке.

Лежат сапёры и ждут. Холодно им, но они терпят. Нельзя пропустить фашистов.

Час лежат, другой... Только к вечеру показались фашисты. Много танков, грузовиков, пехота идёт, тягачи пушки везут...

Подожли враги к мосту. Вот передний танк уже загремел по доскам моста. За ним — второй, третий...

— Давай! — говорит один сапёр другому.

— Рано, — отвечает другой. — Пускай все на мост войдут, тогда уж сразу.

Передний танк уже до середины моста дошёл.

— Давай скорее, пропустишь! — торопит нетерпеливый сапёр.

— Погоди, — отвечает старший.

Передний танк уже к самому берегу подошёл, весь фашистский отряд на мосту.

— Теперь время, — сказал старший сапёр и нажал рукоятку машинки.

Побежал по проволоке ток, соскочила искра в мину, и так грохнуло, что за десять километров слышно было. Гремучее пламя вырвалось из-под моста. Высоко вверх взлетели танки, грузовики. С треском взорвались сотни снарядов, что везли на грузовиках фашисты. И всё — от земли до неба — закрыл густой, чёрный дым.

А когда ветер сдул этот дым, не было там ни моста, ни танков, ни грузовиков. Ничего от них не осталось.

— В самый раз, — сказали сапёры.

КТО У ТЕЛЕФОНА?

— Арина, Арина! Я — Сорока! Арина, вы меня слышите? Арина, отвечайте!

Не отвечает Арина, молчит. Да и нет тут никакой Арины, и Сороки нет. Это нарочно так военные телефонисты кричат, чтобы противник ничего не понял, если прицепится к проводу и подслушает. А тебе я открою секрет. Арина — не тётюшка, Сорока — не птица. Это хитрые телефонные названия. Два наших отряда в бой пошли. Один Ариной назвался, другой — Сорокой. Связисты протянули по снегу телефонный провод, и один отряд говорит с другим.

Но вдруг не слышно стало Арины. Замолчала Арина. Что такое? А тут как раз разведчики пришли к командиру отряда, что Сорокой назывался, и говорят:

— Скорее скажите Арине, что к ним сбоку фашисты подбираются. Если сейчас не сообщите, погибнут наши товарищи.

Стал телефонист кричать в трубку:

— Арина, Арина!.. Это я — Сорока! Отвечайте, отвечайте!

Не отвечает Арина, молчит Арина. Чуть не плачет телефонист. Дует в трубку. Уже все правила забыл. Кричит просто:

— Петя, Петя, ты меня слышишь? Я — Сорока. Вася я!

Молчит телефон.

— Видно, провод оборвался, — сказал тогда боец-связист и попросил командира: — Разрешите, товарищ командир, я полезу исправлю.

Вызвался помочь товарищу ещё один связист. Взяли они инструмент, катушку с проводом и поползли по снегу.

А фашисты по ним стрелять начали. Падают в снег горячие осколки мин, шипят, чиркают пули по снегу, а связисты всё ползут и ползут. И вот нашли они место, где провод оборвался, стали концы провода связывать. А фашисты ещё пуще по ним стреляют. Но надо спасти товарищей. Лежат под огнём два смелых связиста. Работают, телефонную линию чинят. Соединили провода, и заговорил телефон в обоих отрядах.

Обрадовались телефонисты:

— Арина! Я — Сорока! Арина, слушай! Петя, дорогой, принимай!

И сообщил всё, что надо, отряду, который назвался Ариной. Не удалось фашистам обойти наших бойцов.

А связисты приползли обратно и сказали командиру:

— Всё в порядке, товарищ майор, линия работает.

СЕСТРА

Пошёл в бой солдат Иван Котлов. Ударила Ивана фашистская пуля. Руку пробила и в грудь попала. Упал Иван. А товарищи вперёд ушли, врага гнать. Лежит Иван один в снегу. Рука болит, дышать трудно — пуля в груди мешает. Лежит и думает: «Конец мой приходит. Умру сейчас». И глаза закрыл. И думать перестал.

Вдруг слышит: кто-то тихонько его трогает. Стал Иван глаза открывать, да не так-то легко это. Смёрзлись ресницы. Вот один глаз открыл, потом другой. Видит: подползла к нему девушка, на сумке красный крест, — медицинская сестра из отряда. Вынимает из сумки бинт и начинает перевязывать рану — осторожно, чтобы не больно.

«Кругом бой, а она приползла», — подумал Иван и спросил:

— Умру?

— Будете жить, товарищ. Я вас сейчас перевяжу.

— Спасибо, сестрица! — говорит Иван Котлов. — Дозвольте узнать, как вас зовут.

— Надя зовут, — отвечает, — Надя Балашова.

Перевязала она раненого, взяла его винтовку, обхватила Ивана Котлова рукой и потащила в безопасное место.

Фашисты по ней стреляют, а она знай себе ползёт и раненого тащит. Маленькая, а сильная. И ничего не боится. Так и спасла она Ивана Котлова. Славная подружка, храбрая девушка Надя Балашова.

ТАРАН

Прилетел в наше небо большой самолёт. Чёрно-жёлтые кресты на крыльях. Сзади — фашистская метка, как репей-колючка на собачьем хвосте. Вражеский самолёт. Бомбардировщик.

Но есть у нас всех и у тебя храбрые защитники — славные лётчики наши.

Словно буря пронеслась по полю. Только мелькнули красные звёзды на крыльях — и вот уже в небе они! И ревёт мотор, и воздух воеет, ветер отстал, облака — в клочья! Это махнул навстречу врагу маленький и быстрый самолёт-истребитель. Сердитый, острый, как пуля, «ястребок».

Догнал фашистов наш быстрый «ястребок» и стал клевать врага, бить из пулемётов — в крыльях у него пулемёты.

Отбивались фашисты. Палили из пушки, стреляли изо всех своих пулемётов.

Ранила одна пуля нашего лётчика в руку. Больно было лётчику, но ни за что не хотел он упускать врага. Как рассерженная пчела, жужжал «ястребок» и вился над фашистским самолётом. Залетал сбоку и заходил спереди. Нагонял сзади и бросался на врага сверху. Вертелся фашист, плевался огнём из пушки, огрызался пулемётами.

Долго шёл бой в небе.

Вдруг замолчали пулемёты «ястребка».

Что такое?..

Кончились патроны. Нечем больше стрелять.

Обрадовались фашисты: «Что он может с нами сделать без патронов!»

«Нет, не уйдёшь от меня! — сказал наш лётчик, разогнал что есть духу свой маленький „ястребок“ и смело полетел прямо к самому хвосту вражеского самолёта. — Не уйдёшь!»

Отчаянно стреляли в него фашисты. Целые стаи пуль неслись навстречу.

Но «ястребок» с налёту ударил своим винтом по рулю бомбардировщика и перерубил фашисту хвост — словно острым мечом отсек.

Разом рухнул вниз фашистский самолёт. Ткнулся с размаху носом в землю и взорвался на своих бомбах.

А у «ястребка» только ...

... пропеллер погнулся от удара. Раненый лётчик дотянул машину до своих и доложил командиру, что задание выполнено — враг уничтожен.

— Вы ранены, сядьте, — сказал командир, — Благодарю за службу. Отличный таран!

А таран — это и есть тот смелый удар, которым наш «ястребок» разрубил фашиста.

КАК НАШИ ПОДВОДНИКИ ПОБЕДИЛИ ВРАГА ПОД ОБЛАКАМИ

В далёкое плавание ходила наша подводная лодка. Два вражеских корабля потопила она и скрылась в волнах моря.

Долго гонялись за лодкой фашистские самолёты. Миноносцы врага рыскали по морю, подстерегая её. А лодка опустилась на морское дно и лежит там притаившись. Фашистские миноносцы не дождались лодки, ушли к своим берегам. Тихо в морской глубине. Только рыба иногда стукнется о железный борт подлодки.

Прошло много времени. В подлодке стало трудно дышать. Нужно проветрить лодку, впустить в неё чистый, свежий воздух. А для этого надо подняться на поверхность моря. Командир приказал всплывать. Лодка стала осторожно подниматься с морского дна.

А там, наверху, кружили под облаками два фашистских самолёта и высматривали, не покажется ли из моря советская лодка. Как только лодка вынырнула, её сразу заметили вражеские лётчики. И стали фашисты бросать в лодку бомбы и стрелять из пулемётов. Закипела вода вокруг нашей подлодки. Не успеть ей уйти глубоко под воду. Достанут её глубинные бомбы.

Но не растерялись наши краснофлотцы-подводники. Сразу бросились к зенитной пушке. Стоит пушка на мокрой площадке, как на тарелочке. Верти, целься, стреляй во все стороны.

— Огонь! — скомандовал командир с капитанского мостика.

Тах, тах, тах, тах!.. Снаряд за снарядом — в небо.

Не увернулся фашист. Достала его зенитка подводников. Загорелся вражеский самолёт — и кувырком в море. Только брызги вверх да вода зашипела.

И нет самолёта.

А другой фашист испугался, повернул самолёт и пустился удирать.

Подводники надышались свежего воздуха, проветрили лодку, потом завинтили все люки и двери, закупорились плотно, чтобы ни капельки воды не просочилось внутрь. И ушла лодка в морскую глубину. И снова не видно её.

ВПЕРЁД, ТАНКИСТЫ!

Не хотели фашисты с нашей земли уходить. Вырыли окопы, спрятались в них. Из толстых брёвен крыши сделали, тяжёлыми камнями дорогу перегородили и всё кругом опутали колючей проволокой.

Навезли пушек, наставили пулемётов. Как подступишься! Ни слева обойти, ни справа объехать.

Ударили по этому месту наши тяжёлые пушки. Затряслась земля, задрожали враги. И пошли тогда в бой наши танки. Вот он — железный «всех давишь» — наш могучий советский танк. Проволоку — толстую, колючую, — как нитки, рвёт. Деревья и брёвна, словно спички, ломает. Пушку — в лепёшку. Ружья — в щепки. Камни — в порошок.

За тяжёлой, прочной бронёй сидят наши танкисты и бьют по врагам из пушек и пулемётов. А вражеские пули — как горох о стену. Похваляют танкисты свои машины:

— Эх, спасибо рабочим нашим! Крепкую сталь нам сработали — и пуля не берёт.

По грязи, по снегу, по воде проберутся наши танки. На колёсах у них железные гусеницы надеты. Танк сам себе дорогу подстилает. Яма впереди — яму переползёт. Лес на пути — сквозь лес проломится. Гора крутая — на гору взберётся. Широкую реку переплывёт. А если надо, под воду уйдёт и по дну переползёт. И ударит по врагам на другом берегу.

Смелые люди, умелые бойцы славные наши танкисты!

ПЕШКОМ С НЕБА

Снег идёт. Падают с неба белые пушинки. Только что-то уж очень большие они. Всё больше и больше делаются хлопья. Каждый как облачко стал. И под каждым облачком человек качается. Вот уже землю ногами достаёт. Стал на землю. Шагнул...

Что за люди? Кто с неба пешком? Парашютисты.

Высоко над тем местом, где засели фашисты, пронеслись большие наши самолёты. В самолётах — бойцы с лыжами. Все в белых халатах. Сзади и спереди белые сумки-ранцы. Высмотрели наши лётчики подходящее место далеко позади фашистов. Открыли дверцы самолётов — за дверцами пусто. Только ветер гуляет да облака мимо пролетают. Землю внизу еле видно. Прыгай!

Бросились смельчаки вниз головой один за другим. И сразу за спиной у каждого белый шёлк вырвался.

Ветер выхватил парашюты из ранцев, расправил, развернул, словно зонтики, — и медленно плывут, качаются в небе парашютисты. Снежинки летят кругом, и парашюты вместе со снежинками опускаются на землю.

Сразу за дело! Быстро! На лыжи! В бой! Ставь пулемёт!

Заметались фашисты. Не сразу поняли, откуда за спиной у них советские бойцы взялись. С неба, что ли, свалились?

С неба!

БОГАТЫРИ

Есть такая сказка. Как выходили на берег из моря тридцать три богатыря... А сейчас не сказку услышишь. Расскажу, что вправду было.

Захватили фашисты один город наш на морском берегу. Прорвались они в этот город с суши. А с моря к нему не подступишься: острые камни у берега — разобьёт волна корабль.

«Нет таких смельчаков на свете, чтобы с моря к нам сюда явились! — решили фашисты. — Ни в одной сказке ещё таких богатырей не придумали!»

В сказке не придумали, а в Советской Армии есть такие богатыри. И не тридцать три их, а в тридцать тысяч раз больше! Морская пехота.

Ранним утром появился на море советский корабль. Близко к берегу подходить не стал. Но спустили с корабля шлюпки-лодки. Сели на шлюпки наши бойцы и тихо поплыли к берегу.

Прошли лодки между камнями, стали пробираться между минами. А дальше уже и лодке ходу нет. Прыгнули бойцы в холодные волны. Вода по грудь. Руки над головой, чтобы не попала солёная вода на оружие. Граната в одной руке, винтовка — в другой. Зашатала наших бойцов морская волна. Загремели фашистские пушки. Но устояли наши богатыри. Сквозь огонь прошли — не дрогнули. Через волны пробились — и ружей не замочили. Вылезли на берег, кинулись к городу. А на подмогу им наши самолёты прилетели. Не пришлось в то утро фашистам выедаться. Выгнали их из города. И подняли богатыри над городом красный флаг.

СОБИРАЛИСЬ ГЕНЕРАЛЫ НА СОВЕТ

Собирались в одном селе генералы на совет.

А фашисты перед этим всё село пожгли. Осталась цела только одна изба: не успели её враги спалить.

Пришла в село наша армия. Выбили вон фашистов. Устроили в избе походный штаб. Положили штабные командиры на стол свои карты. Поставили телефон. Провода во все стороны протянули. И радиостанцию наладили. Чтоб можно было отсюда приказы давать, войсками командовать.

Приспело время наступать на врага.

К этому дню давно уже готовились.

К вечеру приехали в село генералы. Устроили военный совет. Как лучше наступать на противника, с какой стороны ударить, где пушки поставить, где конницу пустить, а куда танки. Всё рассчитали по минутам и часы сверили. В Москву главному командованию о том, что задумано, доложили.

Пошли по телефонным проводам приказы. И по радио — тайные сигналы. Тире-тире. Точка... То-то-то... Ти-ти-ти...

Помчались в полки верховые с секретными пакетами.

Артиллеристам тайный приказ: чтобы ночью из всех своих пушек ударили.

Лётчикам секретный приказ: чтобы в нужный час бомбы на фашистов бросили.

Пехоте приказ: чтоб грянула к утру на врага.

Танкистам: чтобы моторы проверили, горючим заправились, снарядами орудия зарядили.

Кавалеристам приказ: чтоб с вечера коней хорошо покормили для похода.

Докторам и санитарам приказ: чтобы лекарства и бинты для раненых готовили.

Поварам и походным кухням приказ: чтоб щи бойцам пожирнее сварили.

До самой ночи засиделись генералы на военном совете.

Потом встал старший генерал, взглянул на часы:

— Пора. Приказываю начать наступление! В добрый час!

И ударили в тот час наши пушки. Полетели с бомбами ночные самолёты.

А чуть свет загудела земля под танками, поднялась из окопов пехота. Пошли полки в атаку.

Двинулся весь фронт в наступление.

«КАТЮША»

Словно тысяча коней за лесом заржала. Будто десять, тысяч труб сразу затрубили. То заговорила наша «катюша».

Прозвали её так наши бойцы. Знали «катюшу» по имени во всём мире. Но не многие видели её своими глазами на войне. Она от всех пряталась.

Кто из врагов хоть раз глянул на «катюшу», тот ослеп. Кто из фашистов голос её близко слышал, навсегда оглох. А кто из них с «катюшей» в бою встретился, от того и костей не собрали.

Как услышат, бывало, фашисты, что «катюша» близко, попрячутся куда попало: «Ой, ой, „катюша“! Капут!»

Значит, конец их пришёл — спасайся!

Охнет, заговорит «катюша» своим неслышанным голосом. Словно тысяча коней заржёт. Будто десять тысяч труб сразу затрубят. И гудят в небе тугие огненные струны. Целой стаяй летят

калёные снаряды. За каждым — хвост из огня. Рухнули на землю, рвутся, шипят, молнией брызжут, дымом кроют.

Вот она какая, «катюша»!

Придумали «катюшу» советские инженеры, чтобы неповадно было врагу на нашу землю лезть. И только наши верные гвардейцы, храбрые из храбрых, знали, как действует «катюша» — гвардейский миномёт.

Теперь-то уж все знают: это ракетами «катюша» стреляла. Сейчас у нас уже не отдельные машины «катюши», а целые ракетные войска. Самые грозные для врагов.

ГЛАВНОЕ ВОЙСКО

Не гром ударил — «ура» загремело.

Не молния блеснула — штыки засверкали. Пошла в бой наша пехота.

Главное войско, без него победы нет. Самолёт бросит бомбы — улетит.

Танк дорогу проложит и уйдёт.

А пехота всем завладеет, каждый дом отобьёт, из-под куста врага выгонит, под землёй его достанет.

Велика сила у советского солдата. А храбрости и умения ещё больше. Один на один против танка выходит с гранатой.

На все руки мастер. Где штыком врага не достанет, там пулей не промахнётся.

Оружие бережёт, лопату уважает.

В бою смерти не боится.

В походе отдыха не просит.

Солнце жарит, пыль — идёт пехота.

Мороз трещит, снег — идёт пехота.

Дождь льёт, грязь — идёт пехота.

День светлый — идёт пехота.

Ночь тёмная — идёт пехота.

Пришла пехота, залегла, окопалась. Ждёт приказа, чтобы в наступление идти. Пулемёты — на место, патроны — в ружьё, гранату — в кулак.

Самолёты наши разведали, где враги.

Пушки наши продолжили путь, танки дорогу расчистили.

Вперёд, пехота! Поднялись...

— Ура!

Не гром гремит, не молнии блещут — идёт пехота в наступление.

Вот так про пехоту нашу во время войны говорили. А с тех пор она стала ещё сильнее во много раз. И оружие у неё теперь новое. И в поход она уже не пешком идёт, а на быстрых машинах мчится. Солдаты в них надёжной бронёй укрыты — пуля ...

... не пробьёт.

И зовутся теперь эти солдаты не пехотинцами, а мотострелками, войска же — мотострелковыми.

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Знаешь ли ты, дружок, почему в праздничный вечер с тихого, ясного неба вдруг бухает двадцать раз подряд гром? Над крышами разноцветные звёзды то взойдут в один миг, то растают... И каждый раз на улице то как днём видно, то словно всё зажмурилось...

Это — салют. Хорошая огненная памятка о силе и славе наших защитников. Часто во время войны слышали мы, бывало, вечером слова: «Сейчас будет передано по радио важное сообщение». И по всей стране — везде, на всех улицах, в каждом доме раздавалось: «Говорит Москва! Приказ Верховного Главнокомандующего...»

Победа! Новая победа! Наши войска освободили от фашистов большой город. Враг бежит. Сотни танков и пушек достались нам. Тысячи фашистов попали в плен. Сейчас будет салют.

И в Москве со всех сторон люди спешили к Кремлю. Стемнело давно. Но красные, жёлтые, зелёные огни светофоров указывали дорогу.

Пробили часы на кремлёвской башне: бим-бом-бум-бом, бэ-бам!.. Всё небо шарахнулось от пламени. Дрогнула земля. Дррам-рамм-ба-ба-барах!!! Ударили разом триста пушек. И вдруг будто все огни московских светофоров взлетели в небо. Рассыпались шипучие, весёлые ракеты. Красные, жёлтые, зелёные...

Светло стало как днём. Всё кругом видно: Кремль, Москву-реку... На плечах у взрослых дети прыгают, радуются. А те, кто поменьше, уже легли спать.

И снится ребятам, что огромный добрый великан, по имени Салют, громко шагает по крышам, сыплет с неба цветные огни и стучит во все окна:

«Драм-ба-ба-бах! Выходите, люди добрые, на улицы! Важное сообщение! Победа и слава!»

И много-много раз мы слышали по вечерам эти важные сообщения.

А когда просыпались дети наутро, то узнавали хорошую весть.

— С добрым утром, дружок! С добрым утром! Победа и слава!

Вот в память этих побед и сейчас в Москве и в других наших больших городах несколько раз в году грохочет салют. Празднуют свой день артиллеристы — салют им! Пришёл день танкистов — им салют! И лётчикам в их день — салют. И морякам. А в День Советской Армии — самый главный салют всем солдатам, офицерам и генералам, всем храбрым защитникам страны нашей и крепкого мира на всём свете.



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

СЫН ПОЛКА

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Валентин Катаев "Сын полка"

1

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из чёрных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако её свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых, волшебным образом изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемо чёрный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берёз; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, распавшегося на куски, как простокваша, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окружённые радужным сиянием.

И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.

В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая всегда так много говорит русскому сердцу и заставляет воображение рисовать сказочные картины: Серого волка, несущего Ивана-царевича в маленькой шапочке набекрень и с пером Жар-птицы в платке за пазухой, огромные мшистые лапы лешего, избушку на курьих ножках – да мало ли ещё что!

Но меньше всего в этот глухой, мёртвый час думали о красоте полесской чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.

Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.

Работа была трудная, очень опасная. Почти всё время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте – в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными жёлтыми листьями.

Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.

Но самое тяжёлое было то, что ни разу не удалось покурить. А, как известно, солдату легче обойтись без еды и без сна, чем без затяжки добрым, крепким табачком. И, как на грех, все три солдата были заядлые курильщики. Так что, хотя боевое задание было выполнено как нельзя лучше и в сумке у старшего лежала карта, на которой с большой точностью было отмечено более десятка основательно разведанных немецких батарей, разведчики чувствовали себя раздражёнными, злыми.

Чем ближе было до своего переднего края, тем сильнее хотелось курить. В подобных случаях, как известно, хорошо помогает крепкое словечко или весёлая шутка. Но обстановка требовала полной тишины. Нельзя было не только переброситься словечком – даже высморкаться или кашлянуть: каждый звук раздавался в лесу необыкновенно громко.

Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно, гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.

Впереди пробирался старшой, подавая команду осторожным движением руки: поднимет руку над головой – все тотчас останавливались и замирали; вытянет руку в сторону с наклоном к земле – все в ту же секунду быстро и бесшумно ложились; махнёт рукой вперёд – все двигались вперёд; покажет назад – все медленно пятились назад.

Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти всё так же осторожно, осмотрительно, как и раньше. Пожалуй, теперь они шли ещё осторожнее, останавливались чаще.

Они вступили в самую опасную часть своего пути.

Вчера вечером, когда они вышли в разведку, здесь ещё были глубокие немецкие тылы. Но обстановка изменилась. Днём, после боя, немцы отступили. И теперь здесь, в этом лесу, по-видимому, было пусто. Но это могло только так казаться. Возможно, что немцы оставили здесь своих автоматчиков. Каждую минуту можно было наскочить на засаду. Конечно, разведчики – хотя их было только трое – не боялись засады. Они были осторожны, опытные и в любой миг готовы принять бой. У каждого был автомат, много патронов и по четыре ручные гранаты. Но в том-то и дело, что бой принимать нельзя было никак. Задача заключалась в том, чтобы как можно тише и незаметнее перейти на свою сторону и поскорее доставить командиру взвода управления драгоценную карту с засечёнными немецкими батареями. От этого в значительной степени зависел успех завтрашнего боя.

Всё вокруг было необыкновенно тихо. Это был редкий час затишья. Если не считать нескольких далёких пушечных выстрелов да коротенькой пулемётной очереди где-то в стороне, то можно было подумать, что в мире нет никакой войны.

Однако бывалый солдат сразу заметил бы тысячи признаков того, что именно здесь, в этом тихом, глухом месте, и притаилась война.

Красный телефонный шнур, незаметно скользнувший под ногой, говорил, что где-то недалеко – неприятельский командный пункт или застава. Несколько сломанных осин и помятый кустарник не оставляли сомнения в том, что недавно здесь прошёл танк или самоходное орудие, а слабый, не успевший выветриться, особый, чужой запах искусственного бензина и горячего масла показывал, что этот танк или самоходное орудие были немецкими.

В некоторых местах, тщательно обложенных еловыми ветками, стояли, как поленицы дров, штабеля мин или артиллерийских снарядов. Но так как не было известно, брошены ли они или специально приготовлены к завтрашнему бою, то мимо этих штабелей нужно было пробираться с особенной осторожностью.

Изредка дорогу преграждал сломанный снарядом ствол столетней сосны. Иногда разведчики натыкались на глубокий, извилистый ход сообщения или на основательный командирский блиндаж, накатов в шесть, с дверью, обращённой на запад. И эта дверь, обращённая на запад, красноречиво говорила, что блиндаж немецкий, а не наш. Но пустой ли он, или в нём кто-нибудь есть, было неизвестно.

Часто нога наступала на брошенный противогаз, на раздавленную взрывом немецкую каску.

В одном месте на полянке, озарённой дымным лунным светом, разведчики увидели среди раскиданных во все стороны деревьев громадную воронку от авиабомбы. В этой воронке валялось несколько немецких трупов с жёлтыми лицами и синими провалами глаз.

Один раз взлетела осветительная ракета; она долго висела над верхушками деревьев, и её плывущий голубой свет, смешанный с дымным светом луны, насквозь озарил лес. От каждого дерева протянулась длинная резкая тень, и было похоже, что лес вокруг стал на ходули. И пока ракета не погасла, три солдата неподвижно стояли среди кустов, сами похожие на полуоблетевшие кусты в своих пятнистых, жёлто-зелёных плащ-палатках, из-под которых торчали автоматы. Так разведчики медленно подвигались к своему расположению.

Вдруг старшой остановился и поднял руку. В тот же миг другие тоже остановились, не спуская глаз со своего командира. Старшой долго стоял, откинув с головы капюшон и чуть повернув ухо в ту сторону, откуда ему почудился подозрительный шорох. Старшой был молодой человек лет двадцати двух. Несмотря на свою молодость, он уже считался на батарее бывалым солдатом. Он был сержантом. Товарищи его любили и вместе с тем побаивались.

Звук, который привлёк внимание сержанта Егорова – такова была фамилия старшого, – казался очень странным. Несмотря на всю свою опытность, Егоров никак не мог понять его характер и значение.

«Что бы это могло быть?» – думал Егоров, напрягая слух и быстро перебирая в уме все подозрительные звуки, которые ему когда-либо приходилось слышать в ночной разведке.

«Шёпот! Нет. Осторожный шорох лопаты? Нет. Повизгивание напильника? Нет».

Странный, тихий, ни на что не похожий прерывистый звук слышался где-то совсем недалеко, направо, за кустом можжевельника. Было похоже, что звук выходит откуда-то из-под земли.

Послушав ещё минуту-другую, Егоров, не оборачиваясь, подал знак, и оба разведчика медленно и бесшумно, как тени, приблизились к нему вплотную. Он показал рукой направление, откуда доносился звук, и знаком велел слушать. Разведчики стали слушать.

– Слышать? – одними губами спросил Егоров.

– Слышать, – так же беззвучно ответил один из солдат.

Егоров повернул к товарищам худощавое тёмное лицо, уныло освещённое луной. Он высоко поднял мальчишеские брови.

– Что?

– Не понять.

Некоторое время они втроём стояли и слушали, положив пальцы на спусковые крючки автоматов. Звуки продолжались и были так же непонятны. На один миг они вдруг изменили свой характер. Всем троим показалось, что они слышат выходящее из земли пение. Они переглянулись. Но тотчас же звуки сделались прежними.

Тогда Егоров подал знак ложиться и лёг сам животом на листья, уже поседевшие от инея. Он взял в рот кинжал и пополз, бесшумно подтягиваясь на локтях, по-пластунски.

Через минуту он скрылся за тёмным кустом можжевельника, а ещё через минуту, которая показалась долгой, как час, разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовёт их к себе. Они поползли и скоро увидели сержанта, который стоял на коленях, заглядывая в небольшой окопчик, скрытый среди можжевельника.

Из окопчика явственно слышалось бормотание, всхлипывание, сонные стоны. Без слов понимая друг друга, разведчики окружили окопчик и растянули руками концы своих плащ-палаток так, что они образовали нечто вроде шатра, не пропускавшего свет. Егоров опустил в окоп руку с электрическим фонариком.

Картина, которую они увидели, была проста и вместе с тем ужасна.

В окопчике спал мальчик.

Стиснув на груди руки, поджав босые, тёмные, как картофель, ноги, мальчик лежал в зелёной вонючей луже и тяжело бредил во сне. Его непокрытая голова, заросшая давно не

стриженными, грязными волосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Из провалившегося рта с обмётанными лихорадкой, воспалёнными губами вылетали сиплые вздохи. Слышалось бормотание, обрывки неразборчивых слов, всхлипывание. Выпуклые веки закрытых глаз были нездорового, малокровного цвета. Они казались почти голубыми, как снятое молоко. Короткие, но густые ресницы слиплись стрелками. Лицо было покрыто царапинами и синяками. На переносице виднелся сгусток запёкшейся крови.

Мальчик спал, и по его измученному лицу судорожно пробегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Каждую минуту его лицо меняло выражение. То оно застывало в ужасе; то нечеловеческое отчаяние искажало его; то резкие глубокие черты безысходного горя прорезывались вокруг его впалого рта, брови поднимались домиком и с ресниц катились слёзы; то вдруг зубы начинали яростно скрипеть, лицо делалось злым, беспощадным, кулаки сжимались с такой силой, что ногти впивались в ладони, и глухие, хриплые звуки вылетали из напряжённого горла. А то вдруг мальчик впадал в беспамятство, улыбался жалкой, совсем детской и по-детски беспомощной улыбкой и начинал очень слабо, чуть слышно петь какую-то неразборчивую песенку.

Сон мальчика был так тяжёл, так глубок, душа его, блуждающая по мукам сновидений, была так далека от тела, что некоторое время он не чувствовал ничего: ни пристальных глаз разведчиков, смотревших на него сверху, ни яркого света электрического фонарика, в упор освещавшего его лицо.

Но вдруг мальчика как будто ударило изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выхватил откуда-то большой отточенный гвоздь. Ловким, точным движением Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладонью рот.

– Тише. Свои, – шёпотом сказал Егоров.

Только теперь мальчик заметил, что шлемы солдат были русские, автоматы – русские, плащ-палатки – русские, и лица, наклонившиеся к нему, – тоже русские, родные.

Радостная улыбка бледно вспыхнула на его истощённом лице. Он хотел что-то сказать, но сумел произнести только одно слово:

– Наши...

И потерял сознание.

2

Командир батареи капитан Енакиев сидел на небольшой дощатой площадке, устроенной на верхушке сосны, между крепкими суками. С трёх сторон площадка была открыта. С четвертой стороны, с западной, на неё было положено несколько толстых шпал, защищавших от пуль. К верхней шпале была привинчена стереотруба. К её рогам было привязано несколько веток, так что сама она походила на рогатую ветку.

Для того чтобы попасть на площадку, надо было подняться по двум очень длинным и узким лестницам. Первая, довольно пологая, доходила примерно до половины дерева. Отсюда надо было подниматься по второй лестнице, почти отвесной.

Кроме капитана Енакиева, на площадке находились два телефониста – один пехотный, другой артиллерийский – со своими кожаными телефонными аппаратами, повешенными на

чешуйчатом стволе сосны, и начальник боевого участка, командир стрелкового батальона Ахунбаев, тоже капитан.

Так как на площадке больше четырёх человек не помещалось, то остальные два артиллериста стояли на лестнице: один – командир взвода управления лейтенант Седых, а другой – уже знакомый нам сержант Егоров. Лейтенант Седых стоял на верхних ступеньках, положив локти на доски площадки, а сержант Егоров стоял ниже, и его шлем касался сапог лейтенанта.

Командир батареи капитан Енакиев и командир батальона капитан Ахунбаев были заняты очень срочным, очень важным и очень кропотливым делом: они ориентировали на местности свои карты, уточняя данные, доставленные артиллерийской разведкой. Карты эти, меченные-перемеченные разноцветными карандашами, лежали рядом, разостланные на досках. Оба капитана полулежали на них с карандашами, резинками и линейками в руках.

Капитан Ахунбаев, сдвинув на затылок зелёный шлем и наклонив хмурый, почти коричневый широкий лоб, резкими, нетерпеливыми движениями толстых пальцев передвигал по своей карте прозрачную линейку. Он пускал в ход то красный карандаш, то резинку и в то же время быстро искоса взглядывал в лицо Енакиеву, как бы говоря: «Ну, что же ты, друг милый, тянешь? Давай дальше. Давай поскорее».

Он, как всегда, горячился и плохо скрывал раздражение.

В эти последние часы, а может быть даже минуты, перед боем всё казалось ему слишком медленным. Он внутренне кипел.

Капитан Енакиев и капитан Ахунбаев были старые боевые товарищи. Случилось так, что последние два года они почти во всех боях действовали вместе. Так все в дивизии и привыкли: где дерётся батальон Ахунбаева, там, значит, дерётся и батарея Енакиева.

Славный путь проделали плечом к плечу Енакиев и Ахунбаев. Били они немцев под Духовщиной, били под Смоленском, вместе окружали Минск, вместе гнали врага с родной земли. Не раз и не два и даже не три раза столица наша Москва от имени Родины озаряла вечерние тучи над Кремлём огненными залпами в честь доблестного фронта, где воевали батальон Ахунбаева и батарея Енакиева.

Много хлеба и соли съели вместе, за одним походным столом, боевые друзья. Немало воды выпили они из одной походной фляжки. Случалось, что и спали рядом на земле, укрывшись одной плащ-палаткой. Любили друг друга, как родные братья. Однако ни малейшей поблажки по службе друг другу не делали, хорошо помня поговорку, что дружба дружбой, а служба службой. И достоинства своего друг перед другом никогда не роняли. А характеры у них были разные.

Ахунбаев был горячий, нетерпеливый, смелый до дерзости. Енакиев тоже был храбр не меньше друга своего Ахунбаева, но был при этом холодноват, сдержан, расчётлив, как и подобает хорошему артиллеристу.

Сейчас, перенося на свою карту данные, добытые разведчиками Енакиева, капитан Ахунбаев торопился покончить с этим делом и поскорее отпустить связных, присланных от каждой роты за схемами разведанной местности: они стояли внизу под деревом и ждали.

Приказ о наступлении ещё не был получен. Но по многим признакам можно было заключить, что оно начнётся очень скоро, и до его начала Ахунбаев хотел обязательно побывать в ротах и лично проверить их боевую готовность.

Однако как быстро ни скользила целлулоидная линейка Ахунбаева по карте, как проворно ни наносил красный карандаш кружочки, ромбики и крестики среди кудрявых изображений лесов и голубеньких жилок рек, дело подвигалось далеко не так быстро, как хотелось бы капитану. Почти перед каждым новым значком, который Ахунбаев собирался наносить на карту, капитан Енакиев останавливал его учтивым, но твёрдым движением небольшой сухощавой руки в потёртой коричневой замшевой перчатке:

– Прошу вас. Одну минуту повремените, хочу проверить. Лейтенант Седых!

– Здесь.

– Посмотрите у себя. Квадрат девятнадцать пять. Сорок пять метров северо-северо-восточнее отдельного дерева. Что у вас там замечено?

Не торопясь, но и не копаясь, лейтенант Седых пододвигал к себе планшетку, лежавшую на досках на уровне его груди, опускал немного припухшие, покрасневшие от недосыпания глаза и, покашляв, говорил:

– Подбитый танк, вкопанный в землю и превращённый неприятелем в неподвижную огневую точку.

– Откуда это известно?

– По донесению разведки.

– Правильно, верно, – быстро говорил капитан Ахунбаев, от нетерпения развязывал и завязывал на шее тесёмки плащ-палатки. – Моя разведка то же самое доносит. Значит, не может быть двух мнений. Смело можно наносить.

– Всё же одну минуточку повремените, – говорил капитан Енакиев, подумав.

Он наклонялся и заглядывал за край площадки вниз.

– Сержант Егоров!

– Здесь, товарищ капитан, – откликнулся сержант Егоров с лестницы.

– Что это у вас там за подбитый танк на квадрате девятнадцать пять? Вы не сочиняете?

– Никак нет.

– Лично видели?

– Так точно.

– Собственными глазами?

– Так точно, собственными глазами. Туда шли – видел и на обратном пути видел. На том же месте стоит.

– Так они что? Выходит, превратили его в неподвижную огневую точку?

– Так точно. В неподвижную огневую точку.

– Откуда это известно?

– Они вокруг него производят земляные работы.

– Закапывают?

– Так точно.

- А может быть, они хотят его вывезти?
- Никак нет. Они к нему как раз, когда мы там были, боеприпасы на полуторке привезли.
- Сами видели?
- Так точно. Собственными глазами. Они ящики выгружали. Тогда же мы и засекали.
- Хорошо. Больше ничего.
- Точно! Точно! – радостно восклицал сквозь зубы капитан Ахунбаев и выставлял на карте маленький красный ромбик.

А то вдруг, уточняя положение какой-нибудь цели, капитан Енакиев, сделав свой учтивый, но твёрдый останавливающий жест, опускался на колени перед стереотрубой и – как казалось капитану Ахунбаеву, очень долго – рыскал по туманному, слоистому горизонту, то и дело справляясь с картой и прикладывая к ней целлулоидный круг. В это время Ахунбаев готов был от нетерпения скрипеть зубами и не скрипел только потому, что слишком хорошо знал своего друга. Скрипи или не скрипи, всё равно не поможет.

Достаточно было одного взгляда на капитана Енакиева, на его старенькую, но исключительно опрятную, ладно пригнанную шинель с чёрными петлицами и золотыми пуговицами, на его твёрдую фуражку с лаковым ремешком, чёрным околышком и прямым квадратным козырьком, несколько надвинутым на глаза, на его фляжку, аккуратно обшитую солдатским сукном, на электрический фонарик, прицепленный ко второй пуговице шинели, на его крепкие, но тонкие и во всякую погоду начищенные до глянца сапоги, чтобы понять всю добросовестность, всю точность и всю непреклонность этого человека.

Утро было серое, холодное. Иней, выпавший на рассвете, хрупко лежал на земле и долго не таял. Он медленно испарялся в сыром синем воздухе, мутном, как мыльная вода. Деревья на опушке не шевелились. Но это впечатление было обманчиво. Верхушка сосны раскачивалась по кругу, а вместе с ней раскачивалась и площадка, словно это был плот, который плавно носит вокруг широкого медленного водоворота.

Воздух всё время вздрагивал от пушечных выстрелов и разрывов. Это постоянное и неравномерное состояние воздуха можно было не только чувствовать. Его можно было как бы видеть. При каждом ударе в лесу встряхивались деревья, и жёлтые листья начинали сыпаться гуще, крутясь и колыхаясь.

3

Человеку непривычному могло показаться, что идёт большое сражение и что он находится в самом центре этого сражения. На самом же деле была обычная артиллерийская перестрелка, не слишком даже сильная. Какая-нибудь батарея, наша или немецкая, желая пристрелять новую цель, выпускала несколько снарядов. Эту батарею сейчас же засекали наблюдатели противника, и тотчас по ней из глубины ударял какой-нибудь специальный контрбатарейный взвод. За этим взводом, в свою очередь, начиналась охота. Таким образом, очень скоро на участке заваривалась такая каша, что хоть уши затыкай ватой. Со всех сторон били орудия мелких калибров, ещё более мелких калибров, средних, калибров покрупнее, наконец, крупных, очень крупных, самых крупных, а иногда и сверхмощные пушки, еле слышно ухавшие глубоко в тылу и вдруг с неожиданным воем, скрежетом, вихрем низвергавшие свои колоссальные снаряды в какой-нибудь на вид невинный лесок, над которым поднималась в воздух вместе с кустами и деревьями и обваливалась вниз скалистая туча, чёрная, как антрацит, и продёрнутая в середине молниями.

Иногда откуда-то, с неожиданной стороны, врывается осколок, с силой ударяется в землю, делает рикошет, кружится, трещал, звенел, ныл, как волчок, и с отвратительным стоном уносится прочь, сбивая по пути с деревьев ветки и шишки.

Однако люди, работавшие над картой на верхушке сосны, казалось, ничего этого не слышат и не видят. И только изредка, когда в каком-нибудь месте огонь особенно учащался, телефонист крутил ручку своего кожаного аппарата и негромко говорил:

– Дай «Фиалку». Это «Фиалка»? Говорит «Стул». Проверка линии. Что у вас там делается?... Пока всё тихо? Ну ладно. У нас тоже всё тихо. Войте дальше. До свидания.

Когда наконец работа была окончена, капитан Ахунбаев сразу повеселел. Он быстро засунул карту в полевую сумку, решительно завязал на короткой шее тесёмки плащ-палатки, вскочил на свои короткие, крепкие, немного кривые ноги и крикнул вниз вестовому:

– Коня!

Затем он посмотрел на часы:

– Проверьте. У меня девять шестнадцать. У вас?

– Девять четырнадцать, – сказал капитан Енакиев, скользнув взглядом по своей руке.

Капитан Ахунбаев издал короткий торжествующий гортанный звук. Его глаза сузились, сверкнули глянцевой чернотой.

– Отстаёшь, капитан Енакиев.

– Никак нет. Я не отстаю. У меня верно. Это вы торопитесь... по своему обыкновению.

– Зайцев, точное время! – азартно крикнул Ахунбаев.

Телефонист сейчас же позвонил на командный пункт полка и доложил, что время девять часов четырнадцать минут.

– Твоя взяла, бог войны, – миролюбиво сказал Ахунбаев и, приставив свои часы к часам Енакиева, перевёл стрелки. – Пусть будет на сей раз по-твоему. Прощай, комбат.

Грубо шурша плащом, он единым духом, не сделав ни одной остановки, спустился мимо посторонившихся артиллеристов по обеим лестницам вниз, бросил карту адъютанту, вскочил на коня и умчался, осыпаемый жёлтыми листьями.

После этого капитан Енакиев снял со своей записной книжки тугий резиновый пояс и перебрался к стереотрубе. В книжке были записаны цели. Все эти цели были пристреляны. Но капитану Енакиеву хотелось, чтобы они были пристреляны ещё лучше. Ему хотелось добиться, чтобы в случае надобности его батарея могла сразу, с первых же выстрелов, перейти на поражение, не тратя драгоценного времени на повторную пристрелку. «Пройтись по целям» не представляло, конечно, никакого труда. Но он боялся, что его батарея, выдвинутая далеко вперёд, на линию пехоты, и хорошо спрятанная, может обнаружить себя раньше времени. Вся же задача заключалась именно в том, чтобы ударить совершенно неожиданно, в самый последний, решающий момент боя, и ударить туда, где этого меньше всего ожидают. Такое место, по мнению капитана Енакиева, было на правом фланге боевого участка, между развилками двух дорог и выходом в довольно глубокую балку, поросшую молодым дубняком.

В данный момент это место не представляло ничего интересного. Оно было пустынно. На нём не было ни огневых точек, ни оборонительных сооружений. Обычно на полях сражений таких неинтересных, ничем не замечательных мест бывает довольно много. Сражение проходит

мимо них, не задерживаясь. Капитан Енакиев это знал, но у него было сильное, точное воображение.

В сотый раз рисуя себе предстоящий бой во всех возможных подробностях его развития, капитан Енакиев неизменно видел одну и ту же картину: батальон Ахунбаева прорывает немецкую оборонительную линию и загибает правый фланг против возможной контратаки. Потом он нетерпеливо выбрасывает свой центр вперёд, закрепляется на оборонительном склоне высоты, против развилки дороги, и, постепенно подтягивая резервы, накапливается для нового, решительного удара по дороге. Именно недалеко от этого места, между развилкой дороги и выходом в балку, капитан Ахунбаев и останавливается. Он должен там остановиться, так как этого потребует логика боя: необходимо будет пополнить патроны, подобрать раненых, привести в порядок роты, а главное – перестроить боевой порядок в направлении следующего удара. А на это необходимо хотя и небольшое, но всё же время. Не может быть, чтобы этой паузой не воспользовались немцы. Конечно, они воспользуются. Они выбросят танки. Это самое лучшее время для танковой атаки. Они неожиданно выбросят свой танковый резерв, спрятанный в балке. А в том, что в балке будут спрятаны немецкие танки, капитан Енакиев почти не сомневался, хотя никаких положительных сведений на этот счёт не имел. Так говорило ему воображение, основанное на опыте, на тонком понимании манёвра и на том особом, математическом складе ума, который всегда отличает хорошего артиллерийского офицера, привыкшего с быстротой и точностью сопоставлять факты и делать безошибочные выводы.

«А может быть, всё же рискнуть, попробовать?» – спрашивал себя капитан Енакиев, подкручивая по глазам окуляры стереотрубы.

Расплывчатый серый горизонт светлел, уплотнялся. Мутные очертания предметов принимали предельно чёткую форму. Панорама местности волшебным образом приблизилась к глазам и явственно расслоилась на несколько планов, выступавших один из-за другого, как театральные декорации.

На первом плане, вне фокуса, мутно и странно волнисто выделялись верхушки того самого леса, где стояла сосна с наблюдательным пунктом. Даже один сук этой сосны, чудовищно приближенный, прямо-таки лез в глаза громадными кистями игл и двумя громадными шишками.

За ним выступала полоса поля. По нижнему краю этого поля со стереоскопической ясностью тянулась волнистая линия нашего переднего края. Все его сооружения были тщательно замаскированы, и только очень опытный глаз мог открыть их присутствие. Капитан Енакиев не столько видел, сколько угадывал места амбразур, ходов сообщения, пулемётных гнёзд.

По верхнему же краю поля так же отчётливо и так же подробно, но гораздо мельче, параллельно нашим окопам тянулись немецкие. И мёртвое пространство между ними было так сжато, так сокращено оптическим приближением, что казалось, будто его и вовсе не было.

Ещё дальше капитан Енакиев видел водянистую панораму немецких тылов. Он прошёл по ней вскользь. Быстро замелькали оголённые рожицы, сплюснутые болотца, возвышенности, как бы наклеенные одна на другую, развалины домиков.

И наконец капитан Енакиев вернулся к тому самому месту между развилкой дорог и узкой щелью оврага, которое было занесено в его записную книжку под именем: «Дальномер 17».

Он напряжённо всматривался в это ничем не примечательное, пустынное место, и его воображение – в который раз за сегодняшнее утро! – населяло это место движущимися

цепями Ахунбаева и маленькими силуэтами немецких танков, которые вдруг начинали один за другим выползать из таинственной щели оврага.

«Или лучше не стоит?» – думал Енакиев, стараясь как можно точнее подвести фокус стереотрубы на это место. Это не была нерешительность. Это не было колебание. Нет. Он никогда не колебался. Не колебался он и теперь. Он взвешивал. Он хотел найти наиболее верное решение. Он хотел отдать себе полный отчёт в том, что же для него всё-таки выгоднее: с наибольшей точностью пристрелять «цель номер семнадцать», хотя бы для этого пришлось пойти на риск преждевременно обнаружить свою батарею, или до самой последней минуты не обнаруживать батарею, рискуя в критический, даже, быть может, решающий момент боя потерять несколько минут на корректировку.

Но в это время внизу раздались голоса, лестница зашаталась, послышалось дробное позванивание шпор, и на площадку выскочил, тяжело дыша, молодой офицер, почти мальчик, со смуглым курносом лицом и очень чёрными толстыми бровями. Это был офицер связи. На его лице, которое изо всех сил старалось быть официальным и даже суровым, горела жаркая мальчишеская улыбка.

Он стукнул шпорами, коротко бросил руку к козырьку, точно оторвал её с силой вниз, и подал капитану Енакиеву пакет.

– Приказ по полку... – сказал он строго, но не удержался и, ярко сверкнув карими глазами, взволнованно добавил: – ... о наступлении!

– Когда? – спросил Енакиев.

– В девять часов сорок пять минут. Сигнал – две ракеты синих и одна жёлтая. Там написано. Разрешите идти?

Енакиев посмотрел на часы. Было девять часов тридцать одна минута.

– Идите, – сказал он.

Офицер связи стукнул шпорами, вытянулся, бросил руку к козырьку, с силой оторвал её вниз, повернулся кругом с такой чёткостью и щегольством, словно был не на верхушке дерева, а в столовой артиллерийского училища, и одним духом ссыпался вниз по лестницам, обрывая шпоры о перекладины и весело чертыхаясь.

– Лейтенант Седых! – сказал Енакиев.

– Я здесь, товарищ капитан.

– Вы слышали?

– Так точно.

– Командный пункт здесь. Связь между мной и всеми взводами – телефонная. При движении вперёд наращивать проволоку без малейшей задержки. От взводов не отрываться ни на одну секунду. В случае нарушения телефонной связи дублируйте по радио открытым текстом. При командире каждой роты назначьте двух человек – один связной, другой наблюдатель. Обо всех изменениях обстановки доносить немедленно по проводу, по радио или ракетами. Задача ясна?

– Так точно.

– Вопросы есть?

- Никак нет.
- Действуйте.
- Слушаюсь.

Лейтенант Седых сошёл на одну ступеньку ниже, но остановился:

- Товарищ капитан, разрешите доложить. Совсем из головы выскочило. Как прикажете поступить с мальчиком?
- С каким мальчиком?

Капитан Енакиев нахмурился, но тотчас вспомнил:

- Ах да!

Ему докладывали о мальчике, но он ещё не принял решения.

- Так что же у вас там с мальчиком? Где он находится?
- Пока у меня, при взводе управления. У разведчиков.
- Очухался малый?
- Будто ничего.
- Что же он рассказывает?
- Много чего говорит. Да вот сержант Егоров лучше знает.
- Давайте сюда Егорова.
- Сержант Егоров! – крикнул лейтенант Седых вниз. – К командиру батареи!
- Здесь! – тотчас откликнулся Егоров, и его шлем, покрытый ветками, появился над площадкой.
- Что там с вашим мальчиком? Как его самочувствие? Рассказывайте.

Капитан Енакиев сказал не «доклаживайте», а «рассказывайте». И в этом сержант Егоров, всегда очень тонко чувствующий все оттенки субординации, уловил позволение говорить посемейному. Его утомлённые, покрасневшие после нескольких бессонных ночей глаза открыто и ясно улыбнулись, хотя рот и брови продолжали оставаться серьёзными.

- Дело известное, товарищ капитан, – сказал Егоров. – Отец погиб на фронте в первые дни войны. Деревню заняли немцы. Мать не хотела отдавать корову. Мать убили. Бабка и маленькая сестрёнка померли с голоду. Остался один. Потом деревню спалили. Пошёл с сумкой собирать куски. Где-то на дороге попался полевым жандармам. Отправили силком в какой-то ихний страшный детский изолятор. Там, конечно, заразился паршой, поймал чесотку, болел сыпным тифом – чуть не помер, но всё же кое-как сдюжил. Потом убежал. Почитай, два года бродил, прятался в лесах, всё хотел через фронт перейти. Да фронт тогда далеко был. Совсем одичал, зарос волосами. Злой стал. Настоящий волчонок. Постоянно с собой в сумке гвоздь отточенный таскал. Это он себе такое оружие выдумал. Непременно хотел этим гвоздём какого-нибудь фрица убить. А ещё в сумке у него мы нашли букварь. Рванный, потрёпанный. «Для чего тебе букварь?» – спрашиваем. «Чтобы грамоте не разучиться», – говорит. Ну что вы скажете!

- Сколько ж ему лет?

– Говорит, двенадцать, тринадцатый. Хотя на вид больше десяти никак не дать. Изголодался, отощал. Одна кожа да кости.

– Да, – задумчиво сказал капитан Енакиев. – Двенадцать лет. Стало быть, когда всё это началось, ему ещё девяти не было.

– С детства хлебнул, – сказал Егоров, вздыхая.

Они помолчали, прислушиваясь к звукам артиллерийской перестрелки, которая стала заметно стихать, как это всегда бывает перед началом боя.

Скоро наступила напряжённая, обманчивая тишина.

– И что же, хороший паренёк? – спросил капитан Енакиев.

– Замечательный мальчишка! Шустрый такой, смыслёный! – воскликнул Егоров уже совсем домашнему.

Капитан нахмурился и отвернулся.

Был когда-то и у капитана Енакиева мальчик, сын Костя, правда немного поменьше возрастом – теперь бы ему было семь лет. Были у капитана Енакиева молодая жена и мать. И всего этого он лишился в один день три года назад. Вышел из своей квартиры в Барановичах, по тревоге вызванный на батарею, и с тех пор больше не видел ни дома своего, ни сына, ни жены, ни матери. И никогда не увидит.

Они все трое погибли по дороге в Минск, в то страшное июньское утро сорок первого года, когда немецкие штурмовики налетели на беззащитных людей – стариков, женщин, детей, уходящих пешком по Минскому шоссе от разбойников, ворвавшихся в родную страну.

Об их гибели рассказал капитану Енакиеву очевидец, его старый товарищ, случившийся в это время со своей частью возле шоссе. Он не передавал подробностей, которые были слишком ужасны. Да капитан Енакиев и не расспрашивал. У него не хватало духу расспрашивать. Но его воображение тотчас нарисовало картину их гибели. И эта картина уже никогда не покидала его, она всегда стояла перед глазами. Огонь, блеск, взрывы, рвущие воздух в клочья, пулёмётные очереди в воздухе, обезумевшая толпа с корзинами, чемоданами, колясками, узлами и маленький, четырёхлетний мальчик в синей матросской шапочке, валяющийся, как окровавленная тряпка, раскинув восковые руки между корнями вывороченной из земли сосны. Особенно отчётливо виделась капитану Енакиеву эта синяя матросская шапочка с новыми лентами, считая бабушкой из старой материнской жакетки.

В это лето, несмотря на свои тридцать два года, капитан Енакиев немного посидел в висках, стал суше, скучней, строже. Мало кто в полку знал о его горе. Он никому не говорил о нём. Но, оставаясь наедине с собой, капитан всегда думал о жене, о матери, о сыне. О сыне он думал всегда как о живом.

Мальчик рос в его воображении. Каждую минуту капитан знал точно, сколько бы ему сейчас было лет и месяцев, как бы он выглядел, что бы говорил, как бы учился. Сейчас его сын, конечно, уже умел бы читать и писать и его матросская шапочка ему бы уже не годилась. Эта шапочка теперь лежала бы у матери в комоде среди других вещей, из которых его Костя уже вырос, и, возможно, из неё бабушка сделала бы теперь какую-нибудь другую полезную вещь – мешочек для перьев или суконку для чистки ботинок.

– Как его звать? – сказал капитан Енакиев.

– Ваня.

– Просто – Ваня?

– Просто Ваня, – с весёлой готовностью ответил сержант Егоров, и его лицо расплылось в широкую, добрую улыбку. – И фамилия такая подходящая: Ваня Солнцев.

– Ну так вот что, – подумав, сказал Енакиев, – надо будет его отправить в тыл.

Лицо Егорова вытянулось.

– Жалко, товарищ капитан.

– То есть как это – жалко? – строго нахмурился Енакиев. – Почему жалко?

– Куда же он денется в тылу-то? У него там никого нету родных. Круглый сирота. Пропадёт.

– Не пропадёт. Есть специальные детские дома для сирот.

– Так-то оно, конечно, так, – сказал Егоров, всё ещё продолжая держаться семейного тона, хотя в голосе капитана Енакиева уже послышались твёрдые, командирские нотки.

– Что?

– Так-то оно так, – повторил Егоров, переминаясь на шатких ступенях лестницы. – А всё-таки, как бы это сказать, мы уже думали его у себя оставить, при взводе управления. Уж больно смыслённый паренёк. Прирождённый разведчик.

– Ну, это вы фантазируете, – сказал Енакиев раздражённо.

– Никак нет, товарищ капитан. Очень самостоятельный мальчик. На местности ориентируется всё равно как взрослый разведчик. Даже ещё получше. Он сам просится. «Выучите меня, говорит, дяденька, на разведчика. Я вам буду, говорит, цели разведывать. Я здесь, говорит, каждый кустик знаю».

Капитан усмехнулся:

– Сам просится... Мало что он просится. Не положено. Да и как мы можем взять на себя ответственность? Ведь это маленький человек, живая душа. А ну как с ним что-нибудь случится? Бывает на войне, что и подстрелить могут. Ведь так, Егоров?

– Так точно.

– Вот видите. Нет, нет. Рано ему ещё воевать, пусть прежде подрастёт. Ему сейчас учиться надо. С первой же машиной отправьте его в тыл.

Егоров помялся.

– Убежит, товарищ капитан, – сказал он неуверенно.

– То есть как это – убежит? Почему вы так думаете?

– *«Если, говорит, вы меня в тыл начнёте отправлять, я от вас всё равно убегу по дороге».*

– Так и заявил?

– Так и заявил.

– Ну, это мы ещё посмотрим, – сухо сказал капитан Енакиев. – Приказываю отправить его в тыл. Нечего ему здесь болтаться.

Семейный разговор кончился. Сержант Егоров вытянулся:

– Слушаюсь.

– Всё, – сказал капитан Енакиев коротко, как отрубил.

– Разрешите идти?

– Идите.

И в то время, когда сержант Егоров спускался по лестнице, из-за мутной стены дальнего леса медленно вылетела бледно-синяя звёздочка. Она ещё не успела погаснуть, как по её следу выкатилась другая синяя звёздочка, а за нею третья звёздочка – жёлтая.

– Батарея, к бою, – сказал капитан Енакиев негромко.

– Батарея, к бою! – крикнул звонко телефонист в трубку.

И это звонкое восклицание сразу наполнило зловеще притихший лес сотней ближних и дальних отголосков.

4

А в это время Ваня Солнцев, поджав под себя босые ноги, сидел на еловых ветках в палатке разведчиков и ел из котелка большой деревянной ложкой необыкновенно горячую и необыкновенно вкусную крошёнку из картошки, лука, свиной тушёнки, перца, чеснока и лаврового листа.

Он ел с такой торопливой жадностью, что непрожёванные куски мяса то и дело останавливались у него в горле. Острые твёрдые уши двигались от напряжения под косичками серых, давно не стриженных волос.

Воспитанный в степенной крестьянской семье, Ваня Солнцев прекрасно знал, что он ест крайне неприлично. Приличие требовало, чтобы он ел не спеша, изредка вытирая ложку хлебом, и не слишком сопел и чавкал.

Приличие требовало также, чтобы он время от времени отодвигал от себя котелок и говорил:

«Много благодарен за хлеб, за соль. Сыт, хватит», – и не приступал к продолжению еды раньше, чем его трижды не попросят: «Милости просим, кушайте ещё».

Всё это Ваня понимал, но ничего не мог с собой поделать. Голод был сильнее всех правил, всех приличий.

Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой, в то же время не отводя взгляда от длинных ломтей ржаного хлеба, для которых уже не хватало рук.



Крепко держась одной рукой за придвинутый вплотную котелок, Ваня другой рукой проворно действовал ложкой...

Изредка его синие, как бы немного полинявшие от истощения глаза с робким извинением поглядывали на кормивших его солдат.

Их было в палатке двое: те самые разведчики, которые вместе с сержантом Егоровым подобрали его в лесу. Один – костистый великан с добродушным щербатым ртом и непомерно длинными, как грабли, руками, по прозвищу «шкелет», ефрейтор Биденко, а другой – тоже ефрейтор и тоже великан, но великан совсем в другом роде – вернее сказать, не великан, а

богатырь: гладкий, упитанный, круглолицый сибиряк Горбунов с калёным румянцем на толстых щеках, с белобрысыми ресницами и светлой поросычьей щетиной на розовой голове, по прозвищу Чалдон.

Оба великана не без труда помещались в палатке, рассчитанной на шесть человек. Во всяком случае, им приходилось сильно поджимать ноги, чтобы они не вылезали наружу.

До войны Биденко был донбасским шахтёром. Каменноугольная пыль так крепко въелась в его тёмную кожу, что она до сих пор имела синеватый оттенок.

Горбунов же был до войны забайкальским лесорубом. Казалось, что от него до сих пор крепко пахнет ядрёными, свежесколотыми берёзовыми дровами. И вообще весь он был какой-то белый, берёзовый.

Они оба сидели на пахучих еловых ветках в стёганках, накинутых на богатырские плечи, и с удовольствием наблюдали, как Ваня уписывает крошёнку.

Иногда, заметив, что мальчик смущён своей неприличной прожорливостью, общительный и разговорчивый Горбунов доброжелательно замечал:

– Ты, пастушок, ничего. Не смущайся. Ешь вволю. А не хватит, мы тебе ещё подбросим. У нас насчёт харчей крепко поставлено.

Ваня ел, облизывал ложку, клал в рот большие куски мягкого солдатского хлеба с кисленькой каштановой корочкой, и ему казалось, что он уже давно живёт в палатке у этих добрых великанов. Даже как-то не верилось, что ещё совсем недавно – вчера – он пробирался по страшному, холодному лесу один во всём мире, ночью, голодный, больной, затравленный, как волчонок, не видя впереди ничего, кроме гибели.

Ему не верилось, что позади были три года нищеты, унижения, постоянного гнетущего страха, ужасной душевной подавленности и пустоты.

Впервые за эти три года Ваня находился среди людей, которых не надо было опасаться. В палатке было прекрасно. Хотя погода стояла скверная, пасмурная, но в палатку сквозь жёлтое полотно проникал ровный, весёлый свет, похожий на солнечный.

Правда, благодаря присутствию великанов в палатке было тесновато, но зато как всё было аккуратно, разумно разложено и развешано!

Каждая вещь помещалась на своём месте. Хорошо вычищенные и смазанные салом автоматы висели на жёлтых палочках, изнутри подпиравших палатку. Шинели и плащ-палатки, сложенные ровно, без единой складки, лежали на свежих еловых и можжевёловых ветках. Противогозы и вещевые мешки, поставленные в головах вместо подушек, были покрыты чистыми суровыми утиральниками. При выходе из палатки стояло ведро, покрытое фанерой. На фанере в большом порядке помещались кружки, сделанные из консервных банок, целлулоидные мыльницы, тюбики зубной пасты и зубные щётки в разноцветных футлярах с дырочками. Был даже в алюминиевой чашечке помазок для бритвы, и висело маленькое круглое зеркальце. Были даже две сапожные щётки, воткнутые друг в друга щетиной, и возле них коробочка ваксы. Конечно, имелся там же фонарь «летучая мышь».

Снаружи палатка была аккуратно окопана ровиком, чтобы не натекала дождевая вода. Все колышки были целы и крепко вбиты в землю. Все полотнища туго, равномерно натянуты. Всё было точно, как полагается по инструкции.

Недаром же разведчики славились на всю батарею своей хозяйственностью. Всегда у них был изрядный неприкосновенный запас сахару, сухарей, сала. В любой момент могла найтись

иголка, нитка, пуговица или добрая заварка чаю. О табачке нечего и говорить. Курево имелось в большом количестве и самых разнообразных сортов: и простая фабричная махорка, и пензенский самосад, и лёгкий сухумский табачок, и папиросы «Путина», и даже маленькие трофейные сигары, которые разведчики не уважали и курили в самых крайних случаях, и то с отвращением.

Но не только этим славились разведчики на всю батарею.

В первую голову славились они боевыми делами, известными далеко за пределами своей части. Никто не мог сравниться с ними в дерзости и мастерстве разведки. Забираясь в неприятельский тыл, они добывали такие сведения, что иной раз даже в штабе дивизии руками разводили. А начальник второго отдела иначе их и не называл, как «эти профессора капитана Енакиева».

Одним словом, воевали они геройски.

Зато и отдыхать после своей тяжёлой и опасной работы привыкли толково.

Было их всего шесть человек, не считая сержанта Егорова. Ходили они в разведку большей частью парами через два дня на третий. Один день парой назначались в наряд, а один день парой отдыхали. Что же касается сержанта Егорова, то, когда он отдыхает, никто не знал.

Нынче отдыхали Горбунов и Биденко, закадычные дружки и постоянные напарники. И хотя с утра шёл бой, воздух в лесу ходил ходуном, тряслась земля и ежеминутно по верхушкам деревьев мело низким, оглушающим шумом штурмовиков, идущих на работу или с работы, оба разведчика безмятежно наслаждались вполне заслуженным отдыхом в обществе Вани, которого они уже успели полюбить и даже дать ему прозвище «пастушок».

Действительно, в своих коричневых домотканых портках, крашенных луковичной шелухой, в рваной кацавейке, с торбой через плечо, босой, простоволосый мальчик как нельзя больше походил на пастушонка, каким его изображали в старых букварях. Даже лицо его – тёмное, сухощавое, с красивым прямым носиком и большими глазами под шапкой волос, напоминавших соломенную крышу старенькой избушки, – было точь-в-точь как у деревенского пастушка.

Опустошив котелок, Ваня насухо вытер его коркой. Этой же коркой он обтёр ложку, корку съел, встал, степенно поклонился великанам и сказал, опустив ресницы:

– Премного благодарны. Много вами доволен.

– Может, ещё хочешь?

– Нет, сыт.

– А то мы тебе ещё один котелок можем положить, – сказал Горбунов, подмигивая не без хвастовства. – Для нас это ничего не составляет. А, пастушок?

– В меня уже не лезет, – застенчиво сказал Ваня, и синие его глаза вдруг метнули из-под ресниц быстрый, озорной взгляд.

– Не хочешь – как хочешь. Твоя воля. У нас такое правило: мы никого насильно не заставляем, – сказал Биденко, известный своей справедливостью.

Но тщеславный Горбунов, любивший, чтобы все люди восхищались жизнью разведчиков, сказал:

– Ну, Ваня, так как же тебе показался наш харч?

– Хороший харч, – сказал мальчик, кладя в котелок ложку ручкой вниз и собирая с газеты «Суворовский натиск», разостланной вместо скатерти, хлебные крошки.

– Верно, хороший? – оживился Горбунов. – Ты, брат, такого харча ни у кого в дивизии не найдёшь. Знаменитый харч. Ты, брат, главное дело, за нас держись, за разведчиков. С нами никогда не пропадёшь. Будешь за нас держаться?

– Буду, – весело сказал мальчик.

– Правильно, и не пропадёшь. Мы тебя в баньке отмоем. Патлы тебе острижём. Обмундирование какое-нибудь справим, чтоб ты имел надлежащий воинский вид.

– А в разведку меня, дяденька, будете брать?

– И в разведку тебя будем брать. Сделаем из тебя знаменитого разведчика.

– Я, дяденька, маленький. Я всюду пролезу, – с радостной готовностью сказал Ваня. – Я здесь вокруг каждый кустик знаю.

– Это и дорого.

– А из автомата палить меня научите?

– Отчего же. Придёт время – научим.

– Мне бы, дяденька, только один разок стрельнуть, – сказал Ваня, жадно поглядев на автоматы, покачивающиеся на своих ремнях от беспрестанной пушечной пальбы.

– Стрельнёшь. Не бойся. За этим не станет. Мы тебя всей воинской науке научим. Первым делом, конечно, зачислим тебя на все виды довольствия.

– Как это, дяденька?

– Это, братец, очень просто. Сержант Егоров доложит про тебя лейтенанту Седых. Лейтенант Седых доложит командиру батареи капитану Енакиеву, капитан Енакиев велит дать в приказе о твоём зачислении. С того, значит, числа на тебя и пойдут все виды довольствия: вещевого, приварок, денежное. Понятно тебе?

– Понятно, дяденька.

– Вот как оно делается у нас, у разведчиков... погоди! Ты это куда собрался?

– Посуду помыть, дяденька. Нам мать всегда приказывала после себя посуду мыть, а потом в шкаф убирать.

– Правильно приказывала, – сказал Горбунов строго. – То же самое и на военной службе.

– На военной службе швейцаров нету, – назидательно заметил справедливый Биденко.

– Однако ещё погоди мыть посуду, мы сейчас чай пить будем, – сказал Горбунов самодовольно. – Чай пить уважаешь?

– Уважаю, – сказал Ваня.

– Ну и правильно делаешь. У нас, у разведчиков, так положено: как покушаем, так сейчас же чай пить. Нельзя! – сказал Биденко. – Пьём, конечно, внакладку, – прибавил он равнодушно. – Мы с этим не считаемся.

Скоро в палатке появился большой медный чайник – предмет особенной гордости разведчиков, он же источник вечной зависти остальных батарейцев.

Оказалось, что с сахаром разведчики действительно не считались.

Молчаливый Биденко развязал свой вещевой мешок и положил на «Суворовский натиск» громадную горсть рафинада. Не успел Ваня и глазом мигнуть, как Горбунов бултыхнул в его кружку две большие грудки сахару, однако, заметив на лице мальчика выражение восторга, добултыхнул третью грудку. Знай, мол, нас, разведчиков!

Ваня схватил обеими руками жестяную кружку. Он даже зажмурился от наслаждения. Он чувствовал себя как в необыкновенном, сказочном мире.

Всё вокруг было сказочно. И эта палатка, как бы освещённая солнцем среди пасмурного дня, и грохот близкого боя, и добрые великаны, кидающиеся горстями рафинада, и обещанные ему загадочные «все виды довольствия» – вещевое, приварок, денежное, – и даже слова «свиная тушёнка», большими чёрными буквами напечатанные на кружке.

– Нравится? – спросил Горбунов, горделиво любуясь удовольствием, с которым мальчик тянул чай осторожно вытянутыми губами.

На этот вопрос Ваня даже не мог толково ответить. Губы его были заняты борьбой с чаем, горячим, как огонь. Сердце было полно бурной радости оттого, что он останется жить у разведчиков, у этих прекрасных людей, которые обещают его постричь, обмундировать, научить палить из автомата.

Все слова смешались в его голове. Он только благодарно закивал головой, высоко поднял брови домиком и выкатил глаза, выражая этим высшую степень удовольствия и благодарности.

– Ребёнок ведь, – жалостно и тонко вздохнул Биденко, скручивая своими громадными, грубыми, как будто закопчёнными пальцами хорошенькую козью ножку и осторожно насыпая в неё из кисета пензенский самосад.

Тем временем звуки боя уже несколько раз меняли свой характер.

Сначала они слышались близко и шли равномерно, как волны. Потом они немного удалились, ослабли. Но сейчас же разбушевались с новой, утроенной силой. Среди них послышался новый, поспешный, как казалось, беспорядочный грохот авиабомб, которые всё сваливались и сваливались куда-то в кучу, в одно место, как бы молотя по вздрагивающей земле чудовищными кувалдами.

– Наши пикируют, – заметил вскользь Биденко, прислушиваясь среди разговора.

– Хорошо бьют, – одобрительно сказал Горбунов.

Это продолжалось довольно долго.

Потом наступила короткая передышка. Стало так тихо, что в лесу отчётливо послышался твёрдый звук дятла, как бы телеграфирующего по азбуке Морзе.

Пока продолжалась тишина, все молчали, прислушивались.

Потом издали донеслась винтовочная трескотня. Она всё усиливалась, крепчала. Её отдельные звуки стали сливаться. Наконец они слились. Сразу по всему фронту в десятках мест застучали пулемёты. И грозная машина боя вдруг застонала, засвистела, завывала, застучала, как ротационка, пущенная самым полным ходом.

И в этом беспощадном, механическом шуме только очень опытное ухо могло уловить нежный, согласный хор человеческих голосов, где-то очень далеко певших «а-а-а...».

– Пошла царица полей в атаку, – сказал Горбунов. – Сейчас бог войны будет ей подпевать.

И, как бы в подтверждение его слов, опять со всех сторон ударили на разные лады сотни пушек самых различных калибров.

Биденко долго, внимательно слушал, повернув ухо в сторону боя.

– А нашей батарее не слышать, – сказал он наконец.

– Да, молчит.

– Небось наш капитан выжидает.

– Это как водится. Зато потом как ахнет...

Ваня переводил синие испуганные глаза с одного великана на другого, стараясь по выражению их лиц понять, хорошо ли для нас то, что делается, или плохо. Но понять не мог. А спросить не решался.

– Дяденька, – наконец сказал он, обращаясь к Горбунову, который казался ему добрее, – кто кого побеждает: мы немцев или немец нас?

Горбунов засмеялся и слегка хлопнул мальчика по загривку:

– Эх ты!

Биденко же серьёзно сказал:

– Ты бы, Чалдон, верно, сбегал бы к радистам на рацию, узнал бы, что там слышно.

Но в это время раздались торопливые шаги человека, споткнувшегося о колышек, и в палатку, нагнувшись, вошёл сержант Егоров.

– Горбунов!

– Я.

– Собирайся. Только что в пехотной цепи Кузьминского убило. Заступишь на его место.

– Нашего Кузьминского?

– Да, очередью из автомата. Одиннадцать пуль. Побыстрее.

– Есть!

Пока Горбунов, согнувшись, торопливо надевал шинель и набрасывал через голову снаряжение, сержант Егоров и ефрейтор Биденко молча смотрели на то место, где раньше помещался убитый сейчас разведчик Кузьминский.

Место это ничем не отличалось от других мест. Оно было так же аккуратно – без единой морщинки – застлано зелёной плащ-палаткой, так же в головах стоял вещевой мешок, покрытый суровым утиральником; только на утиральнике лежали два треугольных письма и номер разноцветного журнала «Красноармеец», принесённые полевым почтальоном уже в отсутствие Кузьминского.

Ваня видел Кузьминского только один раз, на рассвете. Кузьминский торопился на смену. Так же, как теперь Горбунов, Кузьминский, согнувшись, надевал через голову снаряжение и выправлял складки шинели из-под револьверной кобуры с большим кольцом медного шомпола.

От шинели Кузьминского грубо и вкусно пахло солдатскими щами. Но самого Кузьминского Ваня рассмотреть не успел, так как Кузьминский сейчас же ушёл. Он ушёл, ни с кем не простившись, как уходит человек, зная, что скоро вернётся. Теперь все знали, что он уже никогда не вернётся, и молчаливо смотрели на его освободившееся место. В палатке стало как-то пусто, скучно и пасмурно.

Ваня осторожно протянул руку и пощупал свежий, липкий номер «Красноармейца». Только теперь сержант Егоров заметил Ваню; мальчик ожидал увидеть улыбку и сам приготовился улыбнуться. Но сержант Егоров строго взглянул на него, и Ваня почувствовал, что случилось что-то неладное.

– Ты ещё здесь? – сказал Егоров.

– Здесь, – виновато прошептал мальчик, хотя не чувствовал за собой никакой вины.

– Придётся его отправить, – сказал сержант Егоров, нахмурясь точно так, как хмурился капитан Енакиев. – Биденко!

– Я!

– Собирайся.

– Куда?

– Командир батареи приказал отправить мальчишку в тыл. Доставишь его с попутной машиной во второй эшелон фронта. Там сдашь коменданту под расписку. Пусть он его отправит в какой-нибудь детский дом. Нечего ему у нас болтаться. Не положено.

– На тебе! – сказал Биденко с нескрываемым огорчением.

– Капитан Енакиев распорядился.

– А жалко. Такой шустрый мальчик.

– Жалко не жалко, а не положено.

Сержант Егоров ещё больше нахмурился. Ему и самому было жаль расставаться с мальчиком. Про себя он ещё ночью решил оставить Ваню при себе связным и с течением времени сделать из него хорошего разведчика.

Но приказ командира не подлежал обсуждению. Капитан Енакиев лучше знает. Сказано – исполняй.

– Не положено, – ещё раз сказал Егоров, властным и резким тоном подчёркивая, что вопрос решён окончательно. – Собирайся, Биденко.

– Слушаюсь.

– Ну, стало быть, так и так, – сказал Горбунов, выправляя складки шинели из-под обмявшейся, потёртой до глянца кобуры нагана. – Не тужи, пастушок. Раз капитан Енакиев приказал, надо исполнять. Такова воинская дисциплина. По крайней мере, хоть на машине прокатишься. Не так ли? Прощай, брат.

И с этими словами Горбунов быстро, но без суеты вышел из палатки.

Ваня стоял маленький, огорчённый, растерянный. Покусывая губы, обмётанные лихорадкой, он смотрел то на одевавшегося Биденко, то на сержанта Егорова, который сидел на койке убитого

Кузьминского с полужакрытыми глазами, бросив руки между колен, и, пользуясь свободной минутой, дремал.

Оба они прекрасно понимали, что творится в душе мальчика. Только что, какие-нибудь две минуты назад, всё было так хорошо, так прекрасно, и вдруг всё сделалось так плохо.

Ах, какая чудесная, какая восхитительная жизнь начиналась для Вани! Дружить с храбрыми, великодушными разведчиками; вместе с ними обедать и пить чай внакладку, вместе с ними ходить в разведку, париться в бане, палить из автомата; спать с ними в одной палатке; получить обмундирование – сапожки, гимнастёрку с погонами и пушечками на погонах, шинель... может быть, даже компас и револьвер-наган с патронами...

Три года жил Ваня, как бродячая собака, без дома, без семьи. Он боялся людей и всё время испытывал голод и постоянный ужас. Наконец он нашёл добрых, хороших людей, которые его спасли, обогрели, накормили, полюбили. И в этот самый миг, когда, казалось, всё стало так замечательно, когда он наконец попал в родную семью – трах! – и всего этого нет. Всё это рассеялось, как туман.

– Дяденька, – сказал он, глотая слёзы и осторожно тронув Биденко за шинель, – а дяденька! Слушайте, не везите меня. Не надо.

– Приказано.

– Дяденька Егоров... товарищ сержант! Не велите меня отправлять. Лучше пусть я у вас буду жить, – сказал мальчик с отчаянием. – Я вам всегда буду котелки чистить, воду носить...

– Не положено, не положено, – устало сказал Егоров. – Ну, что же ты, Биденко! Готов?

– Готов.

– Так бери мальчика и отправляйся. Сейчас как раз с полкового обменного пункта пятитонка со стреляными гильзами уходит обратным рейсом. Ещё захватите. А то наши на четыре километра вперёд продвинулись. Закрепляются. Сейчас начнут тылы подтягиваться. Куда мы тогда малого денем? С Богом!

– Дяденька! – закричал Ваня.

– Не положено, – отрезал Егоров и отвернулся, чтобы не расстраиваться.

Мальчик понял, что всё кончено. Он понял, что между ним и этими людьми, которые ещё так недавно любили его, как родного сына, добродушно называли пастушком, теперь выросла стена.

По выражению их глаз, по интонациям, по жестам мальчик чувствовал наверняка, что они продолжают его любить и жалеть. Но так же наверняка чувствовал и другое: он чувствовал, что стена между ними непреодолима. Хоть бейся об неё головой.

Тогда вдруг в душе мальчика заговорила гордость. Лицо его стало злым. Оно как будто сразу похудело. Маленький подбородок вздёрнулся, глаза упрямо сверкнули исподлобья. Зубы сжались.

– А я не поеду, – сказал мальчик дерзко.

– Небось поедешь, – добродушно сказал Биденко. – Ишь ты, какой злющий. «Не поеду»! Посажу тебя в машину и повезу – так поедешь.

– А я всё равно убегу.

– Ну, брат, это вряд ли. От меня ещё никто не убежал. Поедем-ка лучше, а то машину не захватим.

Биденко легонько взял мальчика за рукав, но мальчик сердито вырвался:

– Не трожьте, я сам.

И, цепко перебирая босыми ногами, вышел из палатки в лес.

А в лесу уже обозники увязывали на повозках кладь, водители заводили машины, солдаты вытаскивали из земли кольца палаток, телефонисты наматывали на катушки провод.

Повар в белом халате поверх шинели торопливо рубил на пне топором ярко-красную баранину.

Всюду валялись пустые ящики, солома, консервные банки с рваными краями, куски газет, и вообще всё говорило, что тылы уже тронулись следом за наступающими частями.

5

На другой день поздно вечером Биденко вернулся в свою часть. Он был очень злой и голодный.

За это время на фронте произошли большие перемены. Наступление быстро разворачивалось. Преследуя врага, армия продвинулась далеко на запад.

Там, где вчера шёл бой, сегодня размещались вторые эшелоны. Там, где вчера стояли вторые эшелоны, сегодня было тихо, пустынно. А передний край проходил там, где ещё вчера у немцев были глубокие тылы.

Лес остался далеко позади. Сражение, начавшееся в нём, теперь продолжалось на открытом месте, среди полей, болот и небольших холмов, поросших кустарником.

На этот раз команда разведчиков помещалась уже не в палатке, а занимала немецкий офицерский блиндаж – прекрасное, солидное сооружение, крытое толстыми брёвнами в четыре наката и обложенное сверху дёрном.

Хозяйственные разведчики высмотрели себе этот блиндаж ещё тогда, когда он находился в немецком расположении и в нём ещё жили немецкие офицеры. Засекая немецкие огневые позиции, разведчики на всякий случай засекли и этот блиндаж, который им уже тогда очень понравился.

Когда Биденко, никого по дороге не расспрашивая и единственно руководствуясь своим безошибочным чутьём разведчика, добрался до блиндажа, было уже совсем темно.

На западном горизонте раскатисто гремело, рычало. Там беспрерывно вспыхивали и подёргивались, отражаясь в зловещих тучах, длинные багровые сполохи.

Спустившись вниз по земляным ступеням, обшитым тёсом, Биденко вошёл в просторный блиндаж. Первое, что бросилось ему в глаза, была новая карбидная лампа, лившая из-под потолка очень яркий, но какой-то едкий, химический, мертвенно-зеленоватый свет. Видно, немцы второпях не успели её унести.

В стенах, в специальных деревянных нишах, аккуратно рядами, как книги, стояли немецкие ручные гранаты с длинными деревянными ручками.

Посередине стоял крепкий обеденный стол, вбитый в землю. В углу топилась докрасна раскалённая чугунная немецкая походная печка, и рядом с ней был небольшой запасец дров, приготовленный тоже немцами.

Как видно, немцы устраивались здесь прочно, по-хозяйски, рассчитывали зимовать. Во всяком случае, они даже повесили на стене картину в деревянной раме. Это была большая раскрашенная фотография красивого домика с готической крышей, окружённого ярко цветущими яблонями. Через всю эту слащавую бело-розовую картинку тянулась красная печатная надпись: «Фрюлинг им Дейчланд», что значило: «Весна в Германии».

Во всём же остальном блиндаж уже имел вполне обжитый русский вид: в головах коек, застланных без единой морщинки русскими артиллерийскими шинелями, попонами и палатками, стояли зелёные вещевые мешки, покрытые чистыми утиральниками; на печке грелся знаменитый медный чайник; на столе, покрытом листками «Суворовского натиска», вокруг большой буханки хлеба в строгом порядке были разложены деревянные ложки и расставлены кружки, а хорошо вычищенное, жирно смазанное русское оружие висело в углах под зелёными русскими шлемами.

В блиндаже было полно народу. Был тот редкий случай, когда все разведчики собрались вместе. Биденко также заметил и много посторонних. Это были знакомые и земляки из других взводов. Они пришли к хлебосольным, зажиточным разведчикам покурить хорошего табачку и попить чайку внакладку из знаменитого чайника.

Судя по всему этому, Биденко понял, что за время его отсутствия в дивизии произошла смена частей и что их батарея в данное время находится в резерве.

Почти все курили, и в жарко натопленном блиндаже стоял тот самый крепкий солдатский дух, о котором принято говорить: «Хоть топор вешай».

– А, здорово, Вася! – увидев дружка, сказал Горбунов, который в это время занимался своим любимым делом – угощал гостей.

Прижав к животу буханку, он нарезал толстые ломти хлеба.

– Ну как, сдал мальчика? Садись к столу. Аккурат к чаю попал.

Он был без гимнастёрки, в одной бязевой сорочке, в расстёгнутом вороте которой виднелась могучая, жирная, розовая грудь.

– А мы, брат, нынче в резерве. Гуляем. Раздевайся, Вася, грейся. Вот твоя койка, я её убрал. Ну, как тебе показалась наша новая квартира? Такой, брат, квартиры ни у кого во всей дивизии не сыщешь. Особенная!

Биденко молча разделся, подошёл к своей койке, сердито кинул на неё снаряжение и шинель, присел на корточки перед печкой и протянул к ней большие чёрные руки.

– Ну, что там слышать в штабе фронта, Вася? Немцы ещё мира не запросили?

Биденко молчал, ни на кого не глядя и хмуро посапывая.

– Может, закуришь? – сказал Горбунов, заметив, что дружок его сильно не в духе.

– А, пошло оно всё к чёрту! – неожиданно пробормотал Биденко, пошёл к своей койке и вяло на неё повалился животом.

Было ясно, что с Биденко случилась какая-то неприятность, но проявлять излишнее любопытство к чужим делам считалась у разведчиков крайне неприличным. Раз человек

молчит, значит, не считает нужным говорить. А раз не считает нужным, то и не надо. Захочет – сам расскажет. И нечего человека за язык тянуть.

Поэтому Горбунов, ничуть не обидевшись и сделав вид, что ничего не замечает, хлопотал по хозяйству, продолжая рассказывать батарейцам о том, как его вчера чуть не убило в пехотной цепи, где он заступил на место убитого Кузьминского.

– Я, понимаешь ты, как раз взялся за ракетницу. Собираюсь давать одну зелёную, чтобы наши перенесли огонь немного подальше. Как вдруг она рядом со мной как хватит! Прямо-таки под самыми ногами разорвалась. Меня воздухом как шибанёт! Совсем с ног сбило. Не пойму, где верх, где низ. Даже в голове на одну минуту затемнилось. Открываю глаза, а земля – вот она, тут, возле самого глаза. Выходит дело – лежу. – Горбунов захохотал счастливым смехом. – Чувствую – весь побит. Ну, думаю, готово дело. Не встану. Осматриваю себя – ничего такого не замечаю. Крови нигде на мне нет. Это меня, стало быть, соображаю, землёй побило. Но зато на шинели шесть штук дырок. На шлеме вмятина с кулак. И, понимаешь ты, каблук на правом сапоге начисто оторвало. Как его и не бывало. Всё равно как бритвой срезало. Бывает же такая чепуха! А на теле, как на смех, ни одной царапины. Вот оно, как снесло каблук. Смотрите, ребята.

Радостно улыбаясь, Горбунов показал гостям попорченный сапог. Гости внимательно его осмотрели. А некоторые даже вежливо потрогали руками.

– Да, собачье дело, – заметил один деловито.

– Бывает, – сказал другой, искоса поглядывая на рафинад, который Горбунов выкладывал на стол. – И то же самое и с нами было. Когда мы под Борисовом форсировали Березину, у нас во взводе у красноармейца Тёткина осколком поясной ремень порезало. А его самого даже не задело. Этого никогда не учёшь.

БИБЛИОТЕНА
ДЕТСКОГО
САДА

А.МИТЯЕВ

ПОЧЕМУ АРМИЯ ВСЕМ РОДНАЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАЛЫШ“ МОСКВА 1987

А. Митяев «Почему армия всем родная»

Девочка Лена научилась читать. Особенно хорошо она читала слова, написанные крупными буквами.

Однажды зимой на стене дома повесили плакат. С плаката на девочку смотрел молодой солдат в каске. Лена стала читать буквы на плакате и прочла: «Да здравствует родная Советская Армия!»

«Армия называется Советской потому, что она в нашей Советской стране, — думала Лена. — А почему родная? Ведь она не мама, не папа, не бабушка...»

Шёл из школы домой мальчик Коля. Он был сосед Лены, и Лена его спросила:

— Коля! Скажи, пожалуйста, тебе Советская Армия родная?

— Мне? Конечно, родная, — ответил Коля. — Мой брат уже полгода служит в армии артиллеристом. Брат мне родной. Значит, и армия родная.

Ушёл Коля домой. А Лена осталась на улице. Она слепила маленькую, ростом с куклу, снежную бабу. Но ей всё равно было грустно. У Лены не было брата, который мог бы пойти в армию и стрелять там из пушек.

Вышла из подъезда соседка тётя Маша — с ковром под мышкой, с веником в руке.

Реклама 09

Лена и её спросила:

— Тётя Маша! Скажите, пожалуйста, ваши родные служат в армии?

— Нет, — ответила тётя Маша. — Не служат. Все дома. Кто на заводе работает, кто в учреждениях.

— Значит, вам армия не родная?

— Как же это не родная! — удивилась тётя Маша. — Я жила в деревне, и началась война. Деревню заняли фашисты. А потом был сильный бой и пришли наши. Мы бежали к ним навстречу, плакали от радости и только говорили: «Родные! Наконец-то пришли, спасли нас от смерти».

— Армия всем родная, — закончила тётя Маша. — И меня, старую, и тебя, такую маленькую, она никому в обиду не даст.

Повеселела девочка. Побежала с улицы домой.

Когда пришёл с работы папа, она рассказала ему, как гуляла, как сама прочла надпись на плакате и что сказали ей Коля и тётя Маша.

— Всё же Коле армия роднее! — пожаловалась Лена.

— Ну это как сказать! — ответил папа. — Принеси-ка мне коробку с документами.

Папа достал из коробки красную книжечку. «Военный билет» — было написано на обложке. На первой странице Лена увидела папину фотографию. Рядом были отчётливые буквы. Лена стала читать их. И получилось: «Сорокин Иван Васильевич. Танкист. Сержант запаса».

— Вот это да! — удивилась Лена. — Мой папа — танкист! А что значит «запаса»?

— Это значит, — сказал папа дочке, — что я, хотя и работаю на заводе, всё равно числюсь в армии.

— А другие папы?

— Другие папы тоже. Кто, как я, танкист, кто летчик, кто разведчик, кто моряк запаса.

На другой день Лена снова гуляла на улице. Было холодно. Дул ветер, падал снег. А она не уходила домой. Ждала, когда из школы придёт Коля. Хотела сказать ему про своего папу-танкиста.